

ЮЗЕФ КРАШЕВСКИЙ

ИЗ ЖИЗНИ
АВАНТЮРИСТА.
ЭМИССАР (СБОРНИК)

Юзеф Крашевский

**Из жизни авантюриста.
Эмиссар (сборник)**

«Э.РА»
1872, 1869

УДК 821
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

Крашевский Ю. И.

Из жизни авантюриста. Эмиссар (сборник) /
Ю. И. Крашевский — «Э.РА», 1872, 1869

ISBN 978-5-99062-236-4

Множество произведений Крашевского пронизано авантурной тематикой, которая была неотъемлемой частью жизни высшего общества. В данную книгу входят два авантурных романа. В романе «Из жизни авантюриста» рассказ идет о незаконнорожденном юноше. Чуть не доведенный до самоубийства несправедливостью сильных мира сего, он чудом остаётся в живых; его спасает профессор, который становится его опекуном. Юноша находит в себе силы отомстить за себя и найти свое счастье. В приключенческом романе «Эмиссар» рассказывается история одного из эмиссаров. Спустя несколько лет после провала восстания 1831 года в Польшу начали тайно прибывать эмигранты, чтобы подготовить новое восстание...

УДК 821
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

ISBN 978-5-99062-236-4

© Крашевский Ю. И., 1872, 1869
© Э.РА, 1872, 1869

Содержание

Из жизни авантюриста	6
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Юзеф Игнаций Крашевский

Из жизни авантюриста. Эмиссар

Романы

Józef Ignacy Kraszewski

Z życia awanturника (Obazki współczesne), Emissarjusz (Wspomnienie z roku 1838). przez

© Бобров АС. 2017

Из жизни авантюриста (современные картинки) роман

В высшей степени чудесным было весеннее утро, такое чудесное, что даже в городе между стенами чувствовалась весна и время молодого дня. Деревья, изгнанники, стоящие за высокими стенами садов и тоскующие по воздуху и солнцу, этим днём выглядели зелёно, вчерашний дождь отмыл их от пыли, роса увлажнила, солнце накормило... остатки сирени цвели и пахли. В городке было ещё тихо и спокойно. В некоторых костёлах мягко тихо отзывались колокола, по улицам передвигались люди, которых утром будит возраст или забота. Большая часть ставней была закрыта и со спущенными шторами. Ворота кое-где только отворили. На брусчатке дороги роса ещё не имела времени высохнуть, хотя длинные лучи утреннего солнца втискивались кое-где, разрезая утренний полумрак. Было это время, в которое хотелось жить.

В очень аккуратной и поддерживаемой в чистоте каменице, с четырьмя окнами на улицу, медленно отворилась дверь и из неё вышел старичок. Его старость хорошо гармонировала с той молодостью утра; он был свежий, резвый, живой и, хоть с белыми волосами, хоть морщинистым лицом, выглядел весело, бодро, почти слишком молодо. В его серых глазах сияла жизнь и неутомимая мысль, уста облачали весёлое выражение, двигался он шибко и свободно. Видно, в доме, из которого он выходил, все ещё спали, потому что дверь за собой закрыл на ключ и спрятал его в карман.

Старичок был маленький, хорошей комплекции, но ничуть не полный, держался просто и двигался по улице хорошим шагом, не нуждаясь в лёгкой палочке, которую имел под мышкой. Он был одет в бедный сюртучок, широкополая шляпа немного заслоняла его лицо, а через плечо на тесьме была подвешена зелёная, лакированная овальная коробка заядлого натуралиста, выбирающегося на экскурсию для гербария или энтомологической коллекции. Видно, что ему как можно скорее нужно выйти из городка, так как, совсем не оглядываясь, прошёл его улицами прямо до предместья и только тогда стал идти медленней, когда очутился среди садов.

К садам примыкал красивый лесок над берегом реки. Была это частная собственность какого-то завистливого соседа, который о ней с городом был в постоянных спорах.

Многолюдные прогулки и экскурсии там запретили и заросли имели достаточно дикий вид. Ни одной кофейни, ни пивной и боулинга не позволяли там разместить. Очень старые ольхи, осины, тополя, дубы, берёзы, заросшие лещиной и разного рода ивами, росли здесь свободно, а соседство реки подкрепляло их влагой, от которой они вырастали более пышно.

Дойдя до края леса, профессор (так называли почтенного старичка) пошёл совсем медленно, его глаза засверкали ещё живей, уста ещё веселей начали улыбаться – только тут был он как дома. Действительно, для гербариста лесок мог доставить много занимательных картин, растительность была пышная и разнообразная.

Профессор начал рассматривать и некоторые известные ему экземпляры растений слегка приветствовал, беря их рукой и осторожно отпуская, чтобы не причинить им вреда. Он сделал общий обзор той флоры, среди которой редкого и особенного ничего не было. Но профессор, видно, искал каких-то особенных явлений болезни или растительных аномалий, так как и самые обычные цветы он рассматривал внимательно, некоторые он разглядывал сквозь лупу, но ничего напрасно не срывал.

Так без всякой тропинки продирался он сквозь лесной клин, уже приближался к реке, через толстые стволы деревьев проглядывало всё больше дневного света и серебристые воды

реки, когда старичок, с любопытством пригнувшись, что-то высмотрел, что его вдруг задержало. Он остановился за кустом лещины, закрытый им, как вкопанный, палка выскользнула из его руки, уста раскрылись, глаза уставились и дыхание остановилось. Действительно, то, на что он так усердно смотрел, было достойным его внимания – потому что и самого равнодушного бы наэлектризовало.

На опушке леса среди деревьев стоял один из самых старых дубов, какие здесь можно было увидеть – его гигантский, шишковатый, корявый ствол несколькими толстыми ветвями рос вверх. Каждая из них могла бы одна представлять старое красивое дерево.

За ним стоял человек... свет, отражающийся от воды, позволял его видеть хорошо, несмотря на мрак, какой царил в лесу. Он был молодой, наверное, не больше тридцати лет прожил на свете... Но лицо имел жёлтое, похудевшее, впалое, и почти трупное... Голову покрывали поредевшие, выпадающие волосы... Одежду представляли остатки некогда изящного наряда, крайне посеревшего. В минуты, когда старичок его увидел и остановился, молодой человек был очень занят...

Из кармана с лихорадочной поспешностью он как раз достал кусок толстой верёвки, посмотрел на неё, как бы хотел измерить глазами, потом шибко начал делать петлю, которую попробовал обеими руками. Тут же один её конец забросил на толстую, видно, уже раньше выбранную ветку старого дуба. Опрокинутая колода, остаток ствола, добытый из земли, лежал как раз под ним. Незнакомец огляделся вокруг, посмотрел на реку и быстро что-то сорвал с шеи, что, раньше должно было быть платком, а теперь было рваной чёрной тряпкой. Бросил её на землю... беспокойными руками начал потом искать в карманах сюртука и доставать бумаги, слепленные от долгого их лежания. Осмотрел все тайники в одежде, разорвал сюртук, под которым была старая грязная рубашка, чтобы и там ещё посмотреть... собрал всё в кучу, подбросил немного сухих листьев и, достав из кармана несколько спичек, живо подложил огонь под бумаги. Смотрел каким-то ошеломлённым взглядом, когда они горели, поправил их пару раз ногой и, дико усмехаясь, найденные бумаги, что держал в руке, зажёг от догорающих остатков бумаг. Пару раз втянув дым, бросил их на землю и обернулся к петле, висящей над головой. Поднявшись на колоду, он прикрепил верёвку, повис на руках, чтобы её втянуть, потом шибко, словно опасался, чтобы ему что-нибудь не помешало, вступил на колоду, подтянулся на цыпочках и шею заложил в петлю. Нельзя уже было иметь ни малейшего сомнения в его намерениях... ещё минута... и повис бы на верёвке... Старый профессор резко пробрался через гущу, и когда он уже должен был висеть, схватил его за плечи.

– Человече! – воскликнул он взволнованным голосом. – Что ты делаешь! Что делаешь!

Пойманный на деле, он не испугался этого нападения, только вздрогнул, обернулся, хотел что-то говорить, но в эти же минуты силы его покинули, напрасно ища руками опору в воздухе, закачался и упал бы, если бы старик его не поддержал.

Самоубийца потерял сознание. Имел достаточно силы, чтобы приготовить деяние, но то было строго отмерено и на большее жизни не хватило. Профессор едва мог поднять вес бессознательного, только не спеша старался положить его на земле, оперев бледную голову о мшистую колоду. В первую минуту он хотел бежать за водой к реке со стаканчиком, который имел в коробочке... подумал, однако, что обморок может пройти, а охота к преступлению вернуться – петля висела готовая...

Поэтому сперва старец подтянулся и обрезал её ножом, который достал из кармана, только потом двинулся к реке...

Обморочный лежал без движения.

Старец имел время вернуться, зачерпнув воды, влил несколько капель её ему в рот и стал натирать вески... Спустя немного времени глаза открылись и лежащий пришёл в себя, хотел подняться, не имел сил...

– Вы больны! – сказал доктор.

– Болен! Да... болен... но, более того, голоден, – отпарировал тихо спасённый.

– Как это – голоден...

– Два дня, кроме капли воды, ничего не имел в устах.

Сказав это, он замолчал.

– Поднимайтесь, как можно... лишь бы до первого дома, там что-нибудь найдём, – начал живо профессор.

Незнакомец, который имел глаза, уставленные в землю, и казался глубоко задумчивым, не отвечал ничего. Профессор повторил, покрутя его руку – спасённый пожал плечами.

– То, что вы намеревались сделать, не выполнимо, – добавил профессор. – Не допущу, хоть бы дошло до борьбы. Вы должны идти за мной... ничего не поможет... Молодой человек, в этом возрасте...

Незнакомец огляделся с каким-то презрением и стал внимательно присматриваться к говорящему. Изучал его лицо с каким-то насмешливым любопытством, однако же ничего не отвечал.

– Прошу вас, – отозвался он наконец после раздумья слабым голосом, – зачем вмешаетесь в то, что вас не касается?

– Прошу прощения, – воскликнул профессор, – каждый человек касается человека, я вмешиваюсь, потому что имею право...

– Оставьте меня в покое, пан! – отворачиваясь, отвечал незнакомец. – Это бредни. Когда нужно кормить, помогать, спасать, это вам не надлежит, а когда кому опротивело жить, неизвестно, зачем и на что... вы приходите с вашим *veto* и вашей моралью – оставьте в покое меня! – повторил он гневно.

– Вы вынуждаете меня поступать с вами, как с безумным, – сказал старик.

– А вы меня можете принудить поступить с вами, как с разбойником.

– У вас нет даже сил, – сказал профессор.

Наступила минута молчания.

– Я не уступлю, – отозвался старик.

Незнакомец молчал, подперся на локте и задумался, словно никого при нём не было.

Профессор не уступал, в течении минуты молчания он не опустил глаз со спасённого бедняги, а, выдержав минуту, произнёс:

– Вы сказали, пан, что два дня не ели, поэтому не время для морали и разговора, сначала пойдём, чтобы вы подкрепились.

Говоря это, он подал ему руку.

Незнакомец, сидя с уставленными в землю глазами, начал смеяться.

– Уже всё было готово... лихо вас сюда принесло! – воскликнул он. – Зачем вы тут оказались? Ну? Зачем? Забавная вещь! Я возвращаюсь как бы с другого света... одна минутка и всё бы кончилось... Вы это знаете как натуралист, что смерть через повешение... очень быстрая...

– Прошу прощения, – прервал профессор, – бывает по-разному, можно долго мучиться...

Незнакомец посмотрел ему в глаза, вытянул назад руку и показал на шею.

– Не всегда, – говорил профессор, – но вставайте, и пойдём.

– Знаете, мой пане, вы вмешались в фатальную историю, по крайней мере, такую хлопотную, как если бы под дверями своими нашли младенца, подкидыша... Вы знаете уже, что у меня в голове, вы должны будете за мной присматривать, вы знаете, что я голодный, должны будете меня кормить, видите, что голый, устыдитесь с таким оборванцем ходить, должны будете меня одеть, догадываетесь о болезненном состоянии души – будете обязаны меня лечить... зачем вам эти хлопоты.

Он взглянул на коробочку профессора.

– Не лучше вам было пройти на цыпочках, не мешая, рвать цветы, а когда бы тело хорошо остыло, дать знать полиции, что там какой-то повешенный болтается. Какой вы непрактичный...

– Никогда в жизни я практичным не был, – отозвался профессор, – вы правы, но пойдём-ка поедим, а об этом потом...

Почти силой схватив за руку молодого товарища, он поднял его с колоды, на которой сидел, отяжелевший, и вынудил идти с ним. Незнакомец поднял с земли брошенный платок, который завязал вокруг шеи, поискал под деревом брошенную потёртую и дырявую шляпу, и в молчании пошёл с профессором. Так они вышли из леса. Сразу на его опушке, где начиналась городская собственность, стояла маленькая усадёбка, в которой была бедная кофейня с садиком. Истощённый каштан худыми листьями заслонял несколько бедных столиков и лавок. На столах ещё вчерашнее разлитое пиво стояло липкими кружками, а воробьи клевали остатки булок, которые побросали гости. В кофейне из-за такой ранней поры всё было закрыто. Однако служащая девушка, заспанная и едва одетая, отворяла ставни, начиная наводить порядок. Профессор позвал её, вежливо улыбаясь и прося кофе. Она хотела ему что-то ответить, но он не дал объяснить ей и что-то шепнул, вкладывая в её руку несколько серебряников, а сам с товарищем занял место на лавке под каштаном.

Вокруг было пусто и тихо, вдалеке на восходном небе – серо, словно рисовались покрытые туманом городские стены и башни, за садиком домика текла река. Незнакомец как-то иронично к ней приглядывался.

– У меня сперва была мысль, – отозвался он, – попросту броситься в реку, я не умею плавать, пошёл бы ко дну. Но кто же её знает, глубока ли. Напиться дрянной воды, испачкаться и не утонуть – смешная вещь... Вдобавок такое холодное утро, ледяная вода, какое-то имел отвращение...

– И хорошо сделали, – прервал быстро профессор, – потому что вода неглубока... летом её по сухому переходят.

Посмотрели друг другу в глаза.

– Что же вас к этому привело? – спросил с отцовским мягким оправданием профессор. – Годится ли так сомневаться в себе и в людях, чтобы искать такого средства для лишения себя существования?

– И так далее! И так далее! – прибавил, барабанив бледными пальцами по столу, незнакомец. – Всё то, что вы могли бы мне поведать, я знаю на память. Я хотел вам сказать, что был бы дезертиром и трусом, что я сам виноват, что по-католически – это грех, а по-философски – это недостойная трусость...

и тому подобное. Даю вам слово. Я это знаю, слышал, понимаю всё, но, мой уважаемый спаситель, а скорее палач, потому что меня приговорил на новую, глупую жизнь... есть минуты сомнения и трусости. На это нет спасения! Есть люди, как я, глупые, некомпетентные, нечестивые... Чем же этому помочь?

Служанка с великой поспешностью принесла кофе, булки, кувшинчик молока и графинчик рома. Жадные глаза бедного парня обратились на эти приборы для еды, и он замолчал. Он невольно вытянул дрожащую руку и схватил булку.

– Подожди, – отбирая её у него, воскликнул старик, – булки свежие, а желудок голодный – это болезнь или смерть, выпей молока с каплей рома или кофе – булка пусть остынет.

С заботливостью няньки занялся старый профессор спасённым, который молчал, глядя на приготовления и, дорвавшись до стакана молока с ромом, жадно одним дыханием его высушил и пустую подал для наполнения с умоляющим движением руки и взглядом.

– Подождём немного, – сказал профессор.

Незнакомец вздохнул и, послушный, поставил стакан. Потом опёрся на локоть и задумался; посмотрел на свою одежду, дырявые ботинки, изношенную шляпу, и вздохнул. Профессор следил за всеми его движениями; достойный человек, хоть любопытный, быстро оторвался от этого занятия и стал наливать ему кофе. Потрогал свежую булку, достаточно ли остыла, чтобы её безопасно голодный желудок мог вынести, и подвинул ему чашку с кофе. Эта отцовская забота не ушла от, хотя отвлечённого, глаза незнакомца, он в молчании схватил руку профессора и пожал её, в глазах навернулись слёзы. Он вытер их живо рукой и стал смеяться, словно удивляясь этому давно не виденному гостю.

Белым днём этот человек казался странней, иначе, чем в лесу под дубом, на котором хотел повеситься. Было особенное противоречие между его одеждой, доказывающей последнюю нужду, и фигурой, и движениями, полными какой-то свободы и панского воспитания.

Побледневшее и измученное лицо, покрытое пожелтевшей кожей, сохраняло красивые и благородные черты. Лицо имел высокое и преждевременно увядшее, глаза чёрные, выпуклые, посаженные под сводчатой дугой бровей, нос римский, уста маленькие и иронично изогнутые. Небритая и нерасчёсанная короткая борода, светлая, как и волосы, создавала контраст, придающий лицу особенный характер. Худые, костистые руки с длинными пальцами были белыми и нежными. Сидел, двигался, говорил с такой какой-то панской важностью, словно лохмотья одел на маскарад. Страшно, однако, сломленные, как бы удар молнии, казались лицо, глаза и ирония горькой улыбки. Он мог иметь лет тридцать, даже, может, меньше, потому что на стёртом облике возраста невозможно было вычислить. Когда-то красивый, сегодня казался страшным.

Одежда, которая была на нём, была, видимо, памятником лучших времён... не в магазине поношенной одежды купленная, но некогда сделанная самым лучшим портным, от использования превратилась в грязные лохмотья. Были это остатки элегантности. Потёртая рубашка, которую видно было из-под расстегнутого сюртука, тонюсенькая, но чёрная от пыли и лопнувшая от ношения, должно быть, ему служила несколько недель.

Выпив в молчании кофе, незнакомец сложил руки, подпёршись на столе.

– Присматриваешься ко мне, пан, – сказал он профессору, – как к загадке. Что удивительного, я сам для себя загадка. Ты спас меня, согласно своему убеждению, не спрашивай же ни о чём, прошу, – я не мог бы ничего поведать. Своих секретов не имею, чужих выдать не могу. Скажу вам только, что человек бедный и ни охоты, ни возможности к жизни не имею; последний золотой я заплатил за кусочек верёвки – что же теперь предпринять дальше...

Профессор принадлежал к той разновидности спокойных людей, которые никогда головы не теряют, возраст в нём притупил энергичность движений, а скорее, изменил способ, каким она объявлялась, но не погасил чувства. Принимал он жизнь, какой она есть в действительности, и верил в то, что сила воли есть неизмерным рычагом, вытворяющим чудеса. Хладнокровие его никогда не покидало.

– Всегда есть какое-нибудь спасение, – сказал он не спеша, – не спрашиваю вас, кто вы, но должен спросить, что умеете? Что можете делать? Работа – это условие жизни, мы – её подданные... что-то нужно делать...

Молодой человек надолго замолчал и помрачнел.

– Не умею ничего или не много, – сказал он, – к работе не очень привык. Могу резко без перерыва вытворять чудеса в течении двадцати четырёх часов, ничего не поев и не выпив, но потом должен сорок восемь лежать вверх брюхом... о выносливости, пан, не спрашивай.

– Что же вы делали? – медленно, тихо спросил профессор.

Незнакомец задумался.

– Что я делал? – повторил он. – Отлично курил сигару, охотился в Африке на львов, а в Америке на буйволов, в Сибири – на соболей, в Польше – с борзыми на лис и зайцев... бутылками пил шампанские вина.

Он рассмеялся, белыми ладонями сжал лицо и болезненно вздохнул. Потом неожиданно поднял бледную голову и добавил:

– Я делал что-то больше... я был секретарём у лорда Перси, лектором у графини Санта-Анна, бухгалтером в Гамбурге у Неуманов и Сполки, в Париже – первым комиссионером у портного под Красивым Садиком; делал много вещей, но каждую из них не долго... всегда что-то такое выпадало, что должен был профессию забросить. Глупая вещь – жизнь...

– Трудная, трудная! – отозвался старик, вздыхая. – Но откуда, пан, ты у нас здесь в П. взялся?

Лицо незнакомца помрачнело.

– Разве я знаю, – отозвался он, – так как-то выпало, что родной край вспомнил... поне-многу меня, по-видимому, вызвали, то есть вызывали. Я появился слишком поздно... при-был, когда уже было незачем. Возвращаться было незачем и не к кому. Тут, у вас, жить скучно и трудно – хотел пойти – прочь... Ну! И это мне не удалось.

Он задумался и спросил:

– Соизвольте поведать мне, пан, кого я имею честь называть своим спасителем?

– Меня зовут Хризостом Куделка.

В глазах незнакомца блеснуло как бы какое-то давнее воспоминание, он ударил себя по лбу, усмехнулся.

– А! Вижу, пан, что вы какой-то бессмертный, – прервал он, всматриваясь в профессора.

– Нет! Но мне восемьдесят лет, это правда, – смеясь и показывая в улыбке белые и здоровые зубы, сказал Куделка.

– И собираете гербарий *con a more*?

– А почему бы мне не развлекаться и не наслаждаться жизнью, пока живой, – начал живо профессор. – Ну, а вы меня знаете? Или слышали?

– Ах! Ах! – сказал незнакомец. – Мы ходили вместе на экскурсии, но тогда мне было лет пятнадцать.

Он опустил глаза и задумался.

– Значит, вы из этого края? – прервал Куделка.

– Да... вроде бы, но сегодня я здесь – приبلуда, бродяга, чужой.

Он пожал плечами.

– Вряд ли вы меня припомните, профессор, я был великим бездельником, гербария не собирал, а на экзамене, как сегодня помню, пальнул вместо *umbiliferae umbiliciferae*.

Профессор сорвался со стула и хлопнул в свои широкие ладони, аж служанка испугалась.

– Теодорек Мурминский!

– А, что же за безумная память! – бледнея ещё больше и пятясь, крикнул тот, обрадованный.

– Нет смысла отрицать, – живо кончил профессор, – что я узнал бы тебя по этим чёрным глазам, ну да, Мурминский... Поглядите-ка... что с тобой сделалось?

– Я говорил, – мрачно отозвался вопрошаемый, – сказал уже всё, – и замолчал.

– Подожди-ка! Подожди! – начал профессор, потирая себе лоб. – Сейчас всё вспомню. У тебя была тут семья... тебя почитали паньчем... Кто же ты? Забыл...

– У меня не было семьи, так как был сиротой, – начал Мурминский, – была у меня опекунша, но – оставим это в покое. Всё это счастливое прошлое погребено навеки веков... нечего его доставать.

Несмотря на этот призыв, беспокойный профессор, погрузившийся в мысли, стал прохаживаться по маленькому садику, борясь с памятью, которая отказывала ему в службе. Незнакомец, иронично улыбаясь, преследовал его глазами и пожимал плечами.

– Всегда та же самая, – прервал он после более долгого молчания, – всегда эта честная душа профессора Куделки, что некогда сирот опекал и летал просить для них милостыню по закрытым дверям. Ничего удивительного, что я из того сорванца я переменялся в висельника, старательный профессор, но что вы за несколько десятков лет ни на волосок не изменились... это штука.

Профессор, казалось, не слышит этого бормотания, так был погружён в мысли, вдруг остановился и выкрикнул: «Эврика!»

– Да, пани жена президента Ва.

– Тихо! Тихо! – срываясь со стула, воскликнул Мурминский. – Довольно, профессор, довольно этих воспоминаний.

– Боже мой! Всё-таки мы с вами наедине, – ответил старик, – всё-таки по старому знакомству я имею некоторое право... всё-таки, зная меня, у вас должно быть ко мне немного доверия... всё-таки я знаю, вы были на воспитании у жены президента...

Мурминский мрачно молчал.

– Да, да! Теперь мне всё отлично приходит на память, хоть этому, быть может, лет пятнадцать. Как бы вчера. Вы были любимым воспитанником жены президента наравне с её сыном, который сам сегодня есть уже президентом. Поначалу вы воспитывались вместе, потом того отправили за границу, вы остались как бы ребёнком дома. Повсеместно говорили, что жена президента так привязалась к Тодзи, что, наверно, его судьбу обдумает...

На это всё не было слова ответа.

Мурминский выпил молока и оглядел свою уничтоженную одежду, словно думал, может ли показаться в ней в городе.

Уже был час, когда всё, проснувшееся, двигалось. На улице было множество людей, едущих и идущих на рынок, на богослужение в костёлы. Профессор, также поняв, с кем имеет дело, не хотел быть навязчивым и умолк – думал так же...

– Если бы вы были рассудительным человеком, – сказал он, – могли бы себя и меня избавить от неприятности. Я оставил бы вас здесь, а сам пошёл бы за какой-какой-нибудь одеждой, чтобы вы переоделись, но с этой глупой мыслью в голове, как я вас тут брошу... Гм, рискнём вместе пойти ко мне... Может, проскользнём незамеченными, – он посмотрел на Мурминского, который, крутя из хлеба шарик, сидел понурый.

– Дадите мне слово чести, что ничего с собой не сделаете? – спросил Куделка. Но в ту же минуту, не дожидаясь ответа, сказал, – нет, нет, человек, что хотел повеситься, готов и слово не сдержать. Пойдём.

На это *dictum* немного задетый Мурминский вздрогнул, но словно не хотел отвечать, только рукой махнул.

– Знаете что, дорогой профессор, – отозвался он, – это правда, что кто таким нечестным образом хотел уйти со света, тот того, что зовётся честью, не очень ценит, но я бы хотел избавить вас от хлопот и стыда. Оставьте меня тут на милость Божью, я справлюсь. Мания самоубийства прошла, кризис миновал, нет опасности... Слова чести вам не даю, но клянусь памятью той святой женщины, которую знал, которая была для меня больше, чем мать, потому что, не будучи матерью, любила меня материнским сердцем. Клянусь вам её воспоминанием – на жизнь не покушусь... иди, собиратель гербариев, спокойно... рассчитаюсь с вами за всё, только за молоко и кофе заплачу, а то меня тут арестуют.

Куделка рассмеялся... и, ничего не отвечая, моргнул стоящей служанке.

– Моя панна, – сказал он, оборачиваясь к ней, – я профессор Куделка, живу на улице Св. Марцина, я выбрался из дома, как старый растрепай, не взяв сакевки... я должен сходить за

деньгами... вернусь через полчаса, а оставляю вам вот этого пана, которого не отпускайте, пока я не приду... потому что пропадёт кофе.

Служанка посмотрела большими удивлёнными глазами и покраснелась, была, видимо, обеспокоена, не зная, что предпринять, её охватил страх, как бы не быть обманутой...

К счастью для профессора в дверях подслушивала хозяйка дома, которая знала профессора, потому что её сын ходил в гимназию. Видя смешанную служанку, она вышла из двери, давая профессору и девушке знаки. Куделка подошёл к ней и что-то ей тихо шепнул. Потом подал руку Мурманскому.

– Подожди меня здесь, пан, от этого не отступлю, прошу.

И шибким шагом, как двадцатилетний парень, он двинулся к городу, оглядываясь, пока был виден каштан, не ушёл ли Мурманский.

Опёршись на руки, этот спасённый бедолага сидел как вкопанный, его глаза светились сначала дико, уставленные без мысли в стену дома... потом медленно отяжелевшие веки начали закрываться – им овладело какое-то утомление, он опустил голову на стол, положил её на руку... и заснул.

Хозяйка и служанка этого дивного гостя, поверенного их охране, стерегли очень заботливо. То одна, то другая высовывалась из-за двери, проверяя, сидит ли он. Даже сон не успокоил их, потому что, может, заподозрили, что был ложным. Особенно пани Фридрикова, хозяйка дома, которой было важно услужить профессору для сына, стояла, беспокойная, на страже.

Но надзор этот был, по крайней мере, избыточным, по той причине, что уставший и сломленный бедняга уснул таким крепким сном, неподвижным, тяжёлым, что его нелегко разбудить бы мог даже шум близкого тракта.

Солнце втиснулось своими лучами сквозь листья каштана, обжигая его запущенную голову, что вынудило вежливую хозяйку поставить над ним зонтик – и это его из сна вывести не могло. Он спал болезненным сном голода, душной пытки, долгой, и многими ночами бодрствования.

* * *

У семьи президента Ва. как раз в этот вечер был их еженедельный приём, чай, на который непрошеные знакомые или, скорее, раз и навсегда приглашённые, привыкли сходить. Их открытый гостеприимный дом всегда собирал много гостей, потому что президент имел отличное положение в гражданстве, президентша родом и связями принадлежала к древней городской шляхте, а особенными свойствами разоружала даже враждебных. Они были люди нестарые; президент прошёл уже порог тридцатилетия, пани, только пять лет бывшая замужем, имела едва двадцать с небольшим. Значительное состояние президента, прекрасное приданое пани Юлии (которую в её кругу называли по-по-близкому Джульетта), очень старательное воспитание обоих, прекрасные связи, которыми достигали оба аж до окружения королевского двора, родственные отношения, слишком умело выращенная популярность в гражданстве, тон самых первых европейских салонов делали дом президента одним из тех, в которых быть принятым представляло честь для человека. Золотая молодёжь, выходящая в свет, чтобы придать себе тон, привыкла говорить неохотно: Я был у президента, мне говорил президент, я слышал от прекрасной президентши.

Никогда супруги лучше подобраны другу другу быть не могли.

Президент, образованный чрезвычайно старательно на родине, потом за границей, много путешествовал, был опытен, серьёзен, и человеком самых безупречных обычаев.

Всё, к чему его обязывало положение, он выполнял с регулярностью отличного английского хронометра.

Начиная от величественной его фигуры, одежды, которая никогда ни шла порознь с модой, ни опережала её, всё в нём было в отличной гармонии и никогда ни слово, ни более живое движение не нарушали величественной фигуры этой панской натуры, цивилизованной согласно самой отличной методе. Среди тысяч можно было узнать в нём потомка старого рода, который помнил о том, что носил обязывающее имя и принадлежал к определённой сфере, с которой ему сойти до низшего класса не годилось ни словом, ни чувством, ни людской пылкостью, ни человеческой слабостью.

Он начал обывательскую жизнь, закончив учёбу в университете *laude cum maxima*, став доктором, как надлежит, от более мелких гражданских должностей шёл ступенями всё выше, удостоенный одинаково доверием сограждан и уважением правительства, которого никогда ни в чём малейшим капризом оппозиции не раздражил. Вообще, президент был со всеми в хороших отношениях, а ещё в лучших с теми, что какую-либо силу и власть представляли. Мы даже не нуждаемся в объяснениях, что он был консерватором самой чистой воды, легитимистом, где только им быть удавалось, и почитателем законного *status quo*, из-за которого ни в коем разе не выходил.

Всю энергию своего характера президент доставал в важных случаях, чтобы удержаться на том положении. Был также как можно лучше виденным при дворе, а гражданство, хоть популярным быть не старался, также его очень ценило.

Дойдя до того возраста, когда люди привыкли жениться, не слишком рано, не слишком поздно, обратил свои глаза на счастливую девушку, дочку известного дома – а заранее узнав, что будет при том дёшево, пустился в правильные старания о руке. Панна Юлия была одной из самых красивых дочек в семье, которая имела их несколько. Казалось, что Провидение это идеальное существо собственноручно вылепило из самой чистой глины в супруги такому президенту. Никогда ничего более красивого не рисовал ни Дюбуфе, ни Винтерхалтер. Рост, фигура, талия делали её превосходнейшим аристократичным типом, какой себе можно представить. Талантливая, вежливая, полная такта... восхищающая шармом взгляда и улыбки, была горда семьёй, которая носила её на руках. На этот цветок никогда не веяло дыхание морозного ветра, не испытала в жизни ни одной из тех неожиданностей, которые сладкий покой девичий души могли нарушить... расцвела как лилия в прекрасный весенний день, улыбчивая, с ясным челом, с сердцем, бьющимся в такт со старыми домашними часами. Ей говорили, что президент был человеком *tres comme il faut*¹ – она нашла его, увидев, таким, каким себе представляла достойного супруга... поговорили друг с другом несколько раз... президент привёз несколько роскошных букетов, а потом, потом в атласном платье, обшитом брабантскими кружевами, с венцом померанцевых цветов на белых висках красивая Юлия подавала руку у алтаря идеально в чёрный фрак одетому нареченному, и жили друг с другом вот уж лет пять – как ангелы в раю. Более счастливого и спокойного супружества не было на свете. С наибольшим, сверхчеловеческим почти искусством президент так скрывал своё счастье, как если бы не хотел, чтобы глаза людские могли за ними следить, красивая Джульетта на следующий день после свадьбы была так же не взволнована, как неделю перед этим – как бы у неё ни на минуту живей не забилося сердце...

Спустя год после свадьбы в семье президента родился сын... через три года Господь Бог дал доченьку... Этих детей, разумеется, никто никогда не видел – и по матери до сих пор узнать было нельзя замужнюю пять лет женщину. Президентша любила наряжаться, но это принадлежало к обязанностям её состояния и положения.

¹ Как надо (лат.)

Дом также был изысканно устроен. Всегда всего хватает, никогда никакого избытка... Отец президента ещё купил значительный участок в городе, на котором построил дворечек, выглядящий каменицей, и посадил сад, который теперь был одним из самых прекрасных. Цветы и кусты из Эрфурта сопровождали... Раз в неделю вечером семья президента приняла... того, кто был милостив прийти. Кроме этого, случались частые обеды для прибывших издалека наиболее выдающихся знаменитостей, которые в обществе занимали положение, приближающее их к хозяину.

Поскольку президентша была музыкальной, приглашали исключительно артистов европейской славы, но тех, несмотря на самую большую к ним вежливость, умели всегда держать в некотором скромном отдалении, чтобы не забывались и на близость слишком не рассчитывали. Президент был суровым сторонником тех барьеров, разделяющих общество на стада разных рас, толсто и тонко закрученных, и не допускал, чтобы это легкомысленно мешалось на стопе абсурдного равенства. Он не вдавался ни в какие разговоры об этом предмете, отделяясь от вопросов суровым взглядом и уничтожающим молчанием – но делом поддерживал свои нерушимые убеждения.

Словом, был это человек, который приносил стране почёт, слово которого весило много, а каждую сказанную фразу повторяли из уст в уста, подавая себе, как полное глубокого значения.

В этот вечер президентша была красива сверх всяких слов. Она ещё сохраняла девичье лицо, тонкую талию, а так как платья носили достаточно открытые, гости могли повосхищаться плечами, словно рукой Праксителя выточенными. На её розовых губах играла мягкая улыбка. На ней было платье бледно-соломенного цвета с лиловыми украшениями, которое было ей чудесно к лицу. Несколько листьев водных растений составляли всё украшение её чёрных кудрей, чрезвычайно обильных и сверкающих. Президент в чёрном фраке следил за дверьми, потому что был чрезмерно вежливым, уважающим и никогда без этикета человека не пропускал.

Настоящий человек большого света имел около двадцати различных форм этой вежливости, которые применял мастерски, никогда фальшивого тона не показывал, каждому умел понравиться, знал, как и о чём с кем говорить, а мерил улыбку, слово и пожатие руки, как хороший купец измеряет и отвечает товар.

Кто бы хотел присмотреться, когда он приветствовал своих гостей, как одному подавал всю ладонь, тряс её, пожимал, другому выделял несколько пальцев, некоторым высовывал один или полтора, от иных отделялся вежливым поклоном, держа руки под фраком или вдруг хватая платок, – он мог бы всю шкалу достоинства, значения веса этих панов измерить. Президент никогда не забывал, никогда не горячился, никогда не давал овладеть собой неразумному чувству – был всегда паном себе и это его ставило чересчур высоко. Как один из достойнейших членов общества христианского милосердия, которое взяло на себя опеку над убогими жителями местечка, не было примера, чтобы когда-нибудь он лично дал грош бедному, непроэкзаменированному предварительно на катахизис и образ жизни. Не подлежит сомнению, что не однажды это ему должно было много стоить, но он мужественно стоял при своих взглядах, а президентше также нужно отдать ту справедливость, что хоть с большим женским сердцем, она строго шла по его примеру.

Салон начинал понемногу наполняться. Никогда в нём не видели, как это кое-где случается, той грустной мешанины людей разных общественных слоёв, убеждений, образования и манеры – тут были только избранные и сливки.

Вы можете быть уверенными, что не встретите тут варвара, который бы не знал французского, не видел Парижа, не принадлежал к какому-нибудь братству, не носил какого-нибудь титула либо титулика, и не имел, по крайней мере, нескольких тысяч талеров дохода. Ничего милее не было на свете, чем салон пани президентши.

В этот вечер, именно, когда уже около двадцати особ, принадлежащих к самому лучшему обществу, находилось в салоне, а сам президент, согласно обычаю, в половину его ширины занимал ожидающее положение, в дверях увидели фигуру, так как-то сразу не гармонирующую с принятыми особами собранного кружка, что президент, увидев её, минуту стоял как бы оторопелый, только, собрав мысли (что можно было понять по бровям, стянутым сильнее, чем обычно) сделал несколько шагов навстречу прибывшему.

Тот вошёл так несмело, держа обеими руками перед собой чёрную старую шляпу, как бы извиняясь заранее, что смеет входить в такое достойное общество. Был это маленький, худой, но резвый старичок с совсем седыми волосами, с улыбающимся лицом, ступающий маленькими несмелыми шажками и боязливо останавливающийся.

Гранатовый фрак старого кроя с высоким воротником и большими жёлтыми, явно сегодня заново вычищенными, пуговичками покрывал его довольно неэлегантно. На шее он имел грубо завязанный с отличной фантазией белый платок, на нём был пиковый накрахмаленный жилетик и брюки, которые, видно, долгое лежание в ящике сократило так, что между почерневшими ботинками и ими наивно желтоватая кожа чрезмерно возбуждала интерес. Конец красивого бело-го платка, спускающийся от носа к карману фрака, как увядший цвет лилии, покоился на обширных полях. Старая цепочка от часов, искусно извлечённая из-под фрака на дневной свет, производила тут художественный эффект.

Этот оригинальный и смешной человек был достойный профессор Куделка – но никто восемьдесят лет не носит безнаказанно.

Президент, узнав его, подошёл к нему с важной миной мецената наук и мужа, уважающего учёных; он добродушно улыбнулся, вытянул одну руку аж с двумя пальцами и подал её Куделке.

– Уважаемый профессор! – воскликнул он. – А это праздник из праздников – увидеть в салоне пана благодетеля. Знаете ли вы мою жену?

– Я имел честь быть представленным! – низко кланяясь, очень тихо сказал профессор.

– Жена! – сказал президент, указывая на прибывшего. – Пан профессор Куделка!

Президентша с покровительственной улыбочкой склонила голову.

Профессор, как ограбленный, со шляпой на груди, остался среди салона, не зная, что делать с собой, с руками и с этой несчастной шляпой. Наконец и то его задерживало, что чувствовал, а скорее каким-то ясновидением предчувствовал, что верхняя часть ботинок бесстыдно выйдет на свет. Уже в дороге он использовал все средства, могущие довести до нормального состояния гранатовое одеяние, в приёмной собственноручно его выгладил... между тем... он чувствовал, знал, был уверен, что будет бунт.

– Пан профессор, вас, должно быть, радует такая милая, цветущая весна, – вставил хозяин, видя обеспокоенность гостя. – Что за красивые у нас цветы...

– Правда! – отозвался профессор, с трудом добывая из груди голос, сдавленный обеспокоенностью. – Потому что детки радуются солнцу... и такие вымахивают! Вымахивают! И так это смеётся, и пахнет... и блестит...

– Чтобы вы увидели сад моей жены, – добавил президент, – я рад вас сбывать и доверить женскому кругу, потому что я как раз говорил о новом кредитном обществе...

Профессор обратил взгляд и поклон к президентше, но с места не двинулся.

– Это акклиматизированная хора, не наша, – проговорил он, – это пришельцы из разных зон и из разных частей света, а я больше люблю наши цветочки, те, что растут себе дико, где их Господь Бог посеял или посадил.

Президентша, угадав мужа, произнесла, хоть притягивая к себе профессора:

– А у меня также в саду наши цветочки!

Куделка улыбнулся, но остался на месте как вкопанный. Неизвестно, как бы это кончилось, если бы на пороге не показался новый гость. Был это прибывший из столицы на

Шпрее сановник, к которому хозяин быстрым шагом подбежал почти к порогу, даже задев профессора, за что не имел времени извиниться. Куделка, смешенный ещё больше, отступил на несколько шагов, повёл глазами по собравшимся – знакомых не видел...

Положение старичка было сверх всяких слов неприятным; все, кто был, окружили сановника, разговор начался по-французски и профессор, хоть этот язык знал досконально, говорил им, не церемонясь слишком с произношением.

Предоставленный сам себе, он не очень был уверен, подобало ли ему сесть, ещё менее был уверен, где бы занять более приличное место; в конце концов, напав на смутную дорогу мысли, что садясь, может ещё больше эту жёлтую кожу вывести на дневной свет, профессор был в грустной задумчивости над несправедливостями этого света. Ему делалось холодно, горячо; он чувствовал, что лицо его горело, что кровь бежала по жилам, как всполошённая, то вдруг задерживалась – словом, это состояние было таким невыносимым, что Куделки потребовались все силы духа, чтобы выдержать это положение.

Вдобавок к этим несчастьям, профессор не прибыл сюда для забавы, имел определённую цель и намерения – хотел один на один сказать несколько слов президенту, а тут состав общества не давал ему ни малейшей надежды, чтобы среди таких достойных гостей он, беднейший учитель, мог подойти к хозяину.

Но профессор Куделка был человеком храбрым, вздохнул, пришёл в себя и остался, только чуть отойдя от середины салона.

Всё-таки есть на свете милосердные сердца, даже в таких правильно устроенных домах, в которых им рисоваться этим чувством не позволял декорум.

В ряду дам, за группой, окружающей президентшу, сидела немолодая особа, в чёрном платье, также не очень свежем, скромно одетая и без претензии. Довольно тучная, совсем некрасивая, эта дама, словно по долгу прибывшая, сидела в глубоком кресле, со сложенными на груди руками, от неохоты помахивая веером. Её взгляд блуждал по салону и уши, казалось, не следят за французским разговором и сановником.

Она заметила обеспокоенность Куделки, мягко улыбнулась, медленно встала и прямо подошла к нему. Профессор узнал в ней докторову Х. из дома (верьте или не верьте, как вам нравится) графини В. Это святой памяти графство давало ей доступ в салон президентши, которой была близкой родственницей. Достойная докторова хорошо знала Куделку, сострадание её привело к нему. Профессор, увидев это и догадавшись, что она направляется к нему, из благодарности упал бы ей в ноги. Докторова была в свете очень достойным существом и в то же время очень простой, очень сердечной и – что ей в глазах президентши очень вредило – чрезвычайно смелой последовательницей своих убеждений... иногда эксцентричных и убранных в небывалые формы.

В обществе докторову опасались, потому что, хоть обычно аж до избытка была молчаливой, когда её какая официальная чепуха допекала – брала на зуб и говорила вещи, от которых прекрасные уши вяли.

– Что же тут, мой бедный профессор, делаете? Как вы сюда забрели? Ради Бога! – воскликнула она, приветствуя его. – Это что-то особенное – увидеть вас на восковом полу.

– Пани благодетельница, – усмехнулся Куделка, – это правда, признаю, я выбрался, согласно немецкой поговорке... как осёл на лёд танцевать... но немецкий осёл, согласно этому тексту, собирается на танец, когда ему очень хорошо... а мне...

Он не закончил.

Докторова ему подмигнула.

– Пойдём-ка, пойдём, сядем, двое стариков, в стороне и поговорим.

Профессор, забыв о ботинках, пошёл за докторовой-графиней. В отдалённом углу салона были канапе и стул. Пани заняла место на канапе и хотела при себе посадить Куделку, но тот скромно занял место рядом на стуле. Огромный фикус своими холодными листьями

оттенял ботаника. Докторова глядела на старичка, которого очень любила, и постоянно улыбалась. Он также в ней знал золотое сердце... полностью доверял. Он говорил себе, что ему её послало Провидение...

– Дорогой профессор, вы, что обычно в это время или раньше идёте с курами на отдых, – начала дама, – вы, что в салонах бывать не любите... скажите мне, но искренно, что же могло вас сюда привести. Потому что это не без оснований.

Старик вздохнул.

– Вы угадали, пани, не без оснований, я хотел лично... да... того... иметь ловкость поговорить с президентом.

Докторова пожала плечами.

– Вижу, что это сегодня не будет легко, много гостей, – говорил профессор, – а так в иные дни и иное время лакеи не допускают к президенту.

– Что-нибудь нужно от него?

– А! Нет, нет! – выпалил Куделка. – Я так, хотел поговорить.

– Говорите, о чём...

– Искренно скажу... но...

– Что же это? Секреты какие-то? – вставила пани.

– Нет, нет, никаких, просто любопытство.

– Может, и я могла бы его удовлетворить? А со мной дело более лёгкое, – прибавила докторова, – наш достойный президент, ужасно накрахмаленный...

Профессор запротестовал рукой. Глубоко задумался... наконец начал, придвинувшись ближе:

– Это простая ерунда с моей стороны. Вы видите, пани благотельница, старый педагог, старый бездетный холостяк, я имею тот обычай, что меня интересуют мои ученики и судьбы их. Вот одного из них, который... который... который в доме старой президентши воспитывался... Был это мальчик...

– Кто же! Может, Тодзио Мурминский, – как бы испуганная, потихоньку прервала пани.

Профессор головой дал утверждающий знак.

– Бог мой! Вот уж выбрался, человеке, – воскликнула она, заслоняясь веером. – Что же с вами стало? В этом доме этого имени произносить не годится! Это счастье и милость Божья, что признались мне. Ни слова о нём, ни слова!

Профессор побледнел, наклонил голову, а широкий воротник старого фрака, словно хотел его укутать, поднялся аж до ушей. Он сам тревожно из-под него взирал на сидящую при нём докторову, которая всё живей махала веером, поглядывая на старичка с оттенком жалости.

– Но это был почти как приёмный сын? Как бы ребёнок дома? – шепнул профессор. – Или что сделал? Или в чём-то обвинили? Почему я не могу хоть спросить о нём? – говорил он далее. – Я всё-так ничего не знаю... ничего...

Докторова нетерпеливо пожала плечами, нагнулась к нему и потихоньку начала:

– Вы старый ребёнок, профессор. Откуда к вам вдруг могло прийти любопытство? Этот Тодзио был, возможно, в последних... движениях... потом жестоко влез в авантюры... Президентша, чувствуя свою смерть, велела его позвать... но его найти не могли... Президент его вынести не может...

– Я спрошу вас, пани благотельница, лежит ли на нём какое пятно? – добавил старик.

Докторова снова пожала плечами.

– Ни о каком пятне не знаю... но знаю, что его тут не терпят, что здесь его имени вспоминать не разрешено, что президент румянится от гнева, когда кто-нибудь его вспомнит. Человек такой опытный... а в этом одном случае его оставляет обычная серьёзность... значит, что-то должно было быть...

Докторова, не признаваясь, что его знала, иронично улыбалась, странно, как бы только не хотела или поведать ничего не могла, достойный Куделка ничего не понял.

– Моя благотельница, – отозвался он после долгого размышления, – всё-таки меня не убьют, когда спрошу, а спросить должен, потому что меня судьба этого юноши интересует.

– Этого юноши, – живей начала пани, – согласно всякому вероятию, даже уже, наверное, нет в живых. Прибыл сюда на мгновение после смерти своей опекуниши... не знаю, что в то время между ним и президентом произошло...

Она сразу поспешно поправилась:

– Не знаю даже, произошло ли что, не знаю... но исчез... говорят, что то ли в Индию, то ли в Китай нанялся на корабль, и как в воду канул...

Наступило долгое молчание. Профессор задумался, но восстановил обычное своё спокойствие и равновесие духа. Докторова, которая постоянно к нему присматривалась, заметила, что его лицо прояснилось.

– А значит, плохого о нём ничего нет, – сказал он, – это хвала Богу! Хвала Богу!

– Что же он вас так интересует? – спросила, наклоняясь, старуха. – Или до вас дошли какие-нибудь ведомости о нём?

– Он меня интересует, – обходя вторую часть вопроса, сказал профессор, – как давний мой ученик, не больше... Я всё-таки вежливо спрошу президента, лишь бы хватило ловкости? Уж погневаться на меня может...

– Несомненно, разгневется, и сделаете ему неприятность! – заметила докторова, хватая его за руку. – Прошу вас, оставьте в покое.

– Но, я должен, должен! – холодно отвечал старик. – Я упрямый.

Было не о чем дольше с ним диспутировать – всё утешение беспокойной докторовой было только то, что, согласно всякому вероятию, профессор не найдёт возможности поговорить с президентом. В минуту, когда ещё должен был продолжаться разговор, послышался серебряный голос красивой Джульетты, зовущей её на свидетельство в каком-то деле. Докторова должна была встать, но, уходя, сжала руку старичка и живо шепнула:

– Оставьте это в покое, оставьте в покое.

Куделка, посидев некоторое время на канаве задумчивый, двинулся позже, но, вопреки совету докторовой, с сильным решением поговорить с хозяином, если бы только выпала ловкость для этого. В это время к нему и столику присел бывший ученик – сегодня загорелый деревенский обыватель, человек хорошего юмора и сердца. Начали смеяться, вспоминая студенческое время. Обыватель приглашал бывшего профессора к себе на экскурсию. Так прошло четверть часа, подали чай... пили его вместе у этого отдалённого столика. Заговорившись, Куделка не видел, что часто беспокойный взгляд докторовой следил за его движениями и действиями. После чая мужчины засели за игру в первом салоне и боковом кабинете, хозяйку почитатели её таланта просили её, чтобы сыграла на фортепиано. Фортепиано стояло в боковом салоне... обывателя оттянули на вист. Хозяин, который, как хозяин, не играл, оказался один на один с профессором. Поэтому он приблизился и сел при нём.

Лицо Куделки прояснилось.

«Сейчас, – сказал он про себя, – сейчас или никогда; но нужно провести дело ловко, как если бы само собой пришло».

Разговор начался обычный. Президент был весёлый и вежливый – говорили о давних временах, о веке, о старости.

– Вот, – отозвался президент, – как это прекрасно, прилично проведённая жизнь выплачивается милой, здоровой, крепкой старостью. Пан благотель, вы – лучший пример этому. Вы сохранили способности и такую юношескую свежесть духа... я вам завидую...

– А! Ваша милость! Не из чего, – вздохнул профессор. – Природа дала человеку ту слабость с доброй целью: чтобы ему смерть сделать менее болезненной. Теряется память,

чувства, живость впечатлений, и медленно, пошагово приходит в то состояние отдыха, за которым... королевство смерти и загадочных вещей.

Президент смотрел, видимо, ему загадочные вещи, как доказывающие скептицизм, не понравились.

– Дорогой профессор, стало быть, жить будете очень долго, потому что ещё при всех способностях и в силе.

– Да, понемногу что-то у меня осталось, – сказал старик, – я больше всего радуюсь, что Господь Бог мне память сохранил, потому что потеря её была бы для меня наиболее неприятна. Поверите ли, пан президент, что я моих бывших учеников всех, ну прямо всем, помню по лицу, речи, мине, словно их видел вчера.

Докторова, видно, беспокоившаяся за разговор, прилетела в эти минуты к столику, но президент попросил её, чтобы помогла жене при гостях. Рада не рада, бросив взгляд на старика, она удалилась, мешкая.

– Я такой памяти не имею, – добавил президент.

– Но, хоть, может, не к месту, но в связи с этой моей памятью, которая есть в одно время моей радостью и досадой, – ведь это в вашем доме и под опекой вашей матери воспитывался некий Теодор Мурминский...

Профессор говорил медленно и холодно, глядя в глаза президенту... но уже на недоконченной фразе заметил, что, может, лучше бы сделал, послушав совет докторовой. Президент, который сидел немного согнувшись на канapé, начал выпрямляться, его лицо облилось пурпуром, глаза загорелись и беспокойно впились в лицо говорящего, уста дрожали, лоб нахмурился – словом, внезапное впечатление, которого сдержать не имел ни времени, ни силы, так отчётливо проявилось в его чертах, что испуганный Куделка – замолчал. Президент также, хоть обязанный ответить, долго молчал, видно, искал такой ответ, чтобы дальнейший разговор о немилом ему человеке закрыл.

– Не знаю, – сказал он, – что с ним стало.

В голосе чувствовался гнев; казалось, глазами ищет в лице старика, случайно ли пришло это упоминание, или, может, было рассчитанным, умышленным, сделанным для того, чтобы больно его кольнуть. Куделка сидел невинный и спокойный.

– Жаль парня, – отозвался он, – он был живой до избытка, отвлечённый, но способный.

Ироничная улыбка разлилась по устам президента, который весь дрожал, как бы от плохо подавленного гнева. Казалось, что хотел что-то поведать, кусал губы, бросил на профессора суровый, полный упрёков взгляд, и хотел вставать. Куделка имел железную волю и в более важных делах отвагу гораздо большую, чем входя в салон.

– Может, это будет не тактично с моей стороны, – начал он холодно, – но старику это простительно, что о судьбе бывшего ученика хочет узнать. Повсеместно известно, что президентша живо занималась этим воспитанником. Вы также, наверняка, после неё приняли это святое наследство. Почему он так исчез? Что с ним стало? Провинился ли в чём?

В президенте явно кипел гнев, каждый раз более трудно подавляемый.

– Профессор, – сказал он тоном панским и надменным, – не спрашивайте меня, прошу, и не приводите неприятных воспоминаний. Мальчик не много заслужил эту опеку, какую ему дали. Преступления вовсе не совершил, но я рад, что мы от него избавились. Это обычный ход человеческих вещей, что за благодеяния получают в оплату самую чёрную неблагодарность.

Говоря это, президент встал, гордо выпрямился, потёр лоб, взглядом повёл по зале, направил глаза на недоумевающего профессора и, уже уходя, обратился ещё:

– Или вы что-нибудь о нём узнали? – спросил президент, подходя к нему.

Куделка имел в жизни тот принцип, что даже, где дело шло о на вид более мелких вещах, никогда не лгать. Для него было это задачей достоинства человека и совести. Он немного подумал.

– Именно потому, что о его прошлом я не знал, хотел просить вас объяснить.

Удовлетворённый этим ответом, не принимая ближе слова: *о прошлом*, президент удалился, видимо, сильно взволнованный.

Докторова, которая из другого покоя наблюдала за концом разговора, пытаясь его отгадать по лицам и движениям этих двух панов, сразу вышла и, прежде чем Куделка имел время, забрав с канапе свою шляпу и поместив её на груди, выскользнуть из салона, подошла поспешно к нему.

– Вы говорили с президентом о нём? – спросила она живо.

– А как же, – ответил старик.

– Что он вам поведал?

– Дал мне понять, что тот перед ним, должно быть, в чём-то провинился – неблагодарностью.

– Ваша настойчивость или постоянство, – прервала докторова, – доказывают мне, что вопрос не был простым любопытством. Ежели вы что-нибудь о нём знаете, я дам вам один дружеский совет. Не вмешивайтесь в это.

– Я никогда в чужие дела не вмешиваюсь, – спокойно сказал Куделка, и, кланяясь, думал уходить.

Докторова заступила ему дорогу.

– Не уступлю, дорогой профессор, вы должны ко мне завтра прийти на обед... обязательно.

Старик задумался; она схватила его за руку, покоящуюся на шляпе.

– Завтра в два часа... обязательно.

Профессор молча поклонился... докторова медленно уступила, а он, оглядываясь вокруг, не спеша вышел за дверь.

Беспокойный взгляд президента, стоящего в глубине залы, пошёл за профессором, и его плечи резко передёрнулись. Видимо, стоя в стороне, ему было необходимо прийти в себя, так неловкое воспоминание старичка его боднуло и задело.

* * *

Поблизости от костёла Святого... в каменичке, принадлежащей ему, очень много лет жил бывший прелат капитула, сейчас пожилой, который от всего отошёл и выжидал только, когда Господь Бог его к себе призовет. Была это некогда одна из самых ярких звёзд духовенства – муж глубокой веры, великого образования, энергичного характера, безупречной правоты, безукоризненных привычек. Славный, любимый, оказывающий сильное влияние на все общественные классы, настоящий Божий капеллан и апостол, ксендз Еремей Заклика опустился со временем, постарев, на забытое бедное существо, одинокое, о котором никто никогда не вспоминал, а когда его имя попадалось в разговорах о прошлых временах, были люди, которые спрашивали: «Разве он ещё жив?» и с удивлением узнавали, что до сих пор не умер.

Мы не раз скорбим над судьбой преждевременно умерших, но как же часто следовало бы сжалиться над теми, что жили слишком долго и имели время видеть себя и свое временное величие похороненными при жизни! Ксендз Еремей, как правильный христианин, вовсе не страдал над своей долей, а был уже такой сломленный болезнью и временами так впадавший в детство, такой странный, что люди его мало понимали и он людей не очень хорошо понимал. Приходили к нему минуты полного беспамятства, апатии, а иногда, иногда снова,

когда его что-то, или человек или пора, солнце или здоровье, освежали, становился молодым, резвым, остроумным и неутомимым болтуном. Были дни, что от него слова добиться было невозможно.

Не много особ его теперь навещало. Люди о тех, что им не припоминаются, легко забывают. Прелат на это не жаловался, любил одиночество и свой тихий уголок. Павел, слуга его с детства, чуть младше него, смотрел за ним, как за ребёнком, потому что ксендз Еремей с трудом мог без помощи пройти через комнату и должен был весь день просиживать в большом кресле. Читал, однако, регулярно свой бревиарий, а в некоторые часы приходящему клирику велел себе читать св. Августина или св. Бернарда.

Иногда в праздники и по воскресеньям навещал его кто-нибудь из давних знакомых.

Всё жилище ксендза Еремея состояло из двух покоев, спальни и комнаты для Павла. Летом имел при этом кусочек садика, где в тени жару просиживал.

При жизни пани президентши Ва. прелат бывал часто в том доме, его очень уважала сама пани, и в минуты смерти ещё, хотя он уже был больной и с трудом ему приходилось двигаться с места, вызвала его непременно на последнюю генеральную исповедь за всю жизнь. Ксендз Еремей велел двум людям усадить его в карету, поехал, выполнил обязанность, а по возвращению, ещё сильнее заболев, уже отсюда совсем выходить не мог.

Эти отношения с семьёй Ва. обязывали и сына иногда навещаться к прелату, но люди утверждали, что президент его не любил. Отчего об этом догадывались, неизвестно, ибо внешне никакого иного признака, кроме самого высокого уважения, заметить было нельзя.

Со смерти президентши прошло уже несколько лет... старец с каждым днём чувствовал себя всё хуже... дни полного упадка сил теперь бывали чаще, а это состояние явно беспокоило президента, потому что почти каждую неделю он узнавал о прелате.

К несчастью, почти всегда так выпадало, что старичок говорить с ним не мог, и даже не было уверенности, что его узнавал.

На следующий день после ужина, на котором находился профессор, хотя недавно президент навещал ксендза Еремея, по обыкновению, в двенадцать часов, в первую дверь постучали. Павел, выглянув в окно, сильно удивился, снова увидев известное ему и вроде бы не очень милое лицо президента. Но так как все уважали достойного пана и оскорбить его никоим образом было невозможно, Павел, хоть фыркнул, не спеша отворил дверь. Президент потихоньку вошёл в коридор.

– А что ксендз-прелат? – спросил он.

Павел только головой покивал.

– Что же? – сказал он приглушённым голосом. – Как обычно... сидит в кресле и дремлет.

– Не был ли он сегодня более сознательный?

– Утром вроде бы немного оживился, – говорил слуга, – но уже часа два за бревиарием... сидит только неподвижно в кресле.

Президент минутку колебался, глядел на Павла, мина которого была явно вызывающей, и, подумав немного, на цыпочках скользнул в покой.

Комната была обширная, старомодная, сводчатая, но, выставленная на юг, имела солнце, лучи которого делали её немного более весёлой, чем казалась бы в сумраке. Меблировка была такая же извечная, как хозяин, канапе, покрытое трихинеллой, такие же кресла, столик, заложенный книжками, несколько запylённых полок. У стола в огромном кресле, обитом кожей и, видно, долго используемом, сидел ксендз Еремей. Издалека видна была только его голова, опущенная на грудь, немного серебряных волос и на них чёрная католическая шапочка, которая прикрывала лысину. Сильно сгорбленный, он сидел с руками, сложенными на груди, с закрытыми глазами, с наполовину открытыми устами, неизвестно, спал

или задумался. Шелест его, однако, разбудил. Он осторожно, медленно поднял веки и, увидев президента, тут же их снова опустил.

Гость очень не спеша подошёл к креслу, так что Павел имел время его опередить, знакомым шагом приблизился к своему пану и шепнул ему на ухо:

– Пан президент.

Ничего не говоря, дрожащей рукой прелат указал на стул, в чертах его лица нарисовалось какое-то болезненное выражение. Он что-то забормотал совсем непонятное.

Президент сел.

Спустя минутку побледневшие глаза ксендза Еремея открылись снова, поглядел на сидящего и закрыл их... как бы уставший...

– Как ваше здоровье, ксендз-прелат? – спросил президент тихо.

Долго нужно было ожидать ответ, наконец послышался невыразительный шёпот.

– Также...

– Я думал, что весенний воздух как-то оживляет.

Ксендз Еремей покачал головой.

– И, значит, сегодня, – сказал, выждав, президент с очень грустным и обеспокоенным лицом, – трудно нам будет говорить дольше... чего я давно желал.

Глаза прелата живо открылись и ясно уставились в говорящего, словно только проснулся. Казалось, что он сделал какое-то усилие – чтобы больше этого желанного президенту разговора не откладывать. Только вздохнул.

– Говори, благодетель, говори, прошу... – отозвался он немного более сильным голосом, поднимая до сих пор опущенную на грудь голову, – прошу...

Движения старца выдавали немного нетерпения; голова его тряслась... и однако старался её на плечах держать так, чтобы смотреть гостю прямо в лицо.

– Столько уже времени прошло со смерти моей покойной матери, – произнёс президент, оглядывая комнату и, видно, боясь, чтобы его слуга не подслушивал, – я заранее желал узнать у ксендза-прелата, который был её другом и поверенным, не поручила ли она ему какой-нибудь своей последней воли.

Старичок очень внимательно прислушивался, глаза всё более оживали. Он дышал, словно его что-то в груди душило, пару раз сухой рукой ударил по подлокотнику кресла.

– Светлой памяти президентша, – сказал он медленно, – не нуждалась в поручении мне какой-либо своей воли. Считала вас единственным сыном. Впрочем, духовному принадлежит только совесть... совесть.

Прелат редко говорил так много и так живо, президент, видно, хотел воспользоваться минутой пробуждения.

– Я очень извиняюсь, ксендз-прелат, что такой надоедливый, – сказал он, – я почитаю память моей матери и поэтому...

Прелат несколько раз сильно ударил в подлокотник кресла.

– Мы одни, – прибавил президент, приближаясь, встав со стула, – между нами только Бог один, поговорим открыто.

Голос президента задрожал.

– Дорогая моя матушка, – говорил он далее, – в минуты смерти и на какое-то время перед ней была полностью в сознании. Болезнь делала её чувствительной... ей мерещились разные, небывалые вещи... болезненный бред. Отсюда опасения, чтобы ничего, будучи госпожой всех своих владений...

Прелат не дал закончить президенту, подбросил резко голову вверх, заломил руки и топнул под столом ногой.

– Но что вы мне это говорите, – отозвался он писклявым от усилия голосом, – то, что говорите про эту достойную мать – это ложь, ложь!

И руками, как бы отпихивая клевету, начал лихорадочно взмахивать. Президент молчал... отошёл и сел на своё кресло задумчивый. Разговор принял совсем плохой оборот.

– Простите меня, ксендз-прелат... тут речь о памяти моей дорогой матери, которая сама себе в этом состоянии могла учинить кривду. Я был при ней постоянно в последних годах, мог лучше думать о состоянии её мысли. Очень жестоко страдала от мигреней... по этой причине...

– Мой президент, – складывая руки как для молитвы, начал прелат тихо снова, – не говорите мне о том, прошу.

– Я должен в этот раз говорить и поговорить решительно, – сказал энергично прибывший. – Я имею причину считать, что моя мать вызвала вас для того, чтобы вам поверить якобы какую-то тайну – вещь чисто воображаемая – и сделать вас исполнителем своей воли, которая нас морально и материально может ущемить. Поэтому...

Новый взмах руками прервал речь; прелат опустил голову, беспокойно подвигался в кресле и видно было слезу, которая потекла у него из-под века.

Была довольно долгая и для обоих неприятная минута молчания.

– Этого достаточно, – закончил ксендз Еремей, – ошибаешься, пане президент. Глаза сына читают в душе матери, но глаза капеллана в минуты смерти видят глубину души человека и не ошибаются и ошибиться не могут. Довольно этого...

Он замолчал, как бы желая в уставшую грудь набрать немного воздуха.

– Уважайте память и волю родителей, – добавил он, – остальное оставьте Богу.

Он закрыл глаза – и от утомления положил голову на кресло, давая рукою знак президенту, чтобы ушёл.

Президент со стиснутыми устами, явно гневный, с нахмуренными бровями, встал, выпрямился, приблизился к руке ксендза, желая её поцеловать, но прелат живо её убрал... склонил голову и закрыл глаза. Гость с гневным лицом отвернулся и тихо вышел из покоя.

По его уходу ксендз Еремей вышел из апатии, которая казалась его нормальным состоянием, живо задвигался на кресле и нетерпеливо начал искать звонок, всегда стоящий под рукой. Наконец найдя его, с конвульсивной резкостью он зазвонил, пока, наконец, Павел, который вышел на галерею от двора, услышав звонок, тут же не вбежал встревоженный. Он посмотрел на прелата, на лице которого выступил необычный румянец и, заламывая руки, подбежал к нему.

– Что такое? Что с вами?

Ксендз Еремей упал на кресло, бессильный, и сразу отвечать не мог. Спустя некоторое время, словно сам себе, он невыразительно начал:

– Скоро девяносто! Да! Нечего ждать. Последний час может прийти... как злодей. Грех бы был... да...

– Что с вами? – добивался Павел.

– Но ничего, ничего, – приходя в себя, воскликнул ксендз Еремей. – Куда же ты подевался?

Слуга молчал.

– Слушай, иди... сейчас, сейчас приведи ко мне...

Тут он надолго остановился, не был, видно, уверенным, кого требовал, или фамилия вышла из его памяти. Уста задвигались и рука, казалось, противоречит тому, что они хотели поведать.

– Попроси ко мне... попроси.

– Кого? – спросил Павел.

– Кого? Кого? Проси... какого-нибудь достойного, честнейшего человека... доброго... проси ко мне такого, который бы не предал.

Павел поглядел на своего пана. Эти слова прелат явно выговорил уже не из-за отсутствия памяти или ума, но хотел, видно, сдаться как бы слепой судьбе, здравому уму Павла, через который бы говорил ему голос общества, не желая сам делать выбора.

– самого достойного, – повторил слуга, – это, пожалуй, ксендз Стружка.

Наступило долгое молчание – прелат задумался.

– Да, он самый достойный, но самый слабый из людей, – добавил он быстро. – Попроси, стало быть, ксендза Стружку.

– Сейчас? Сейчас ли?

– Немедленно, – сказал прелат дрожащим голосом. – Кто же знает, я сегодня ещё после этого волнения могу умереть... Иди... проси его.

Павел закрутился и выбежал из комнаты.

Ксендз-каноник Стружка жил в том же доме, который давал приют нескольким духовным. Его квартира была внизу. На добрых десять с лишним лет младше ксендза Еремея, был это старый его приятель и самый заботливый опекун. Но имел только сердце, созданное, чтобы быть опекуном, впрочем, менее практичного человека свет не видел. Жил весь в идеальных сферах, в книжках и делах милосердия... сам, однако же, нуждался в надзоре, чтобы каждый час не стоять в какой-то коллизии с тем, что его окружало. Отвлечённый до наивысшей степени, живой, горячка, он шёл за побуждениями самого прекрасного сердца и, идя, падал, бедолага, на дорогах, толкался, страдал, сносил ложь, смеялся над собственным страданием и ошибками, а на следующий день им подвергался. Уже сама внешность ксендза Стружки объявляла эксцентрика. Одежду носил в наивысшей степени небрежную и совсем неизящную, редко когда имел полное облачение, а волосы причёсанные, почти всегда были дырявые ботинки. Бедняки, безжалостно его обманывающие, забирали его последние деньги, он давал в займы на все стороны, продавал, что имел, и ни одного бедняка от двери не оттолкнул. Немилосердно его использовали – он смеялся над этим.

Простодушный и легковёрный, он всегда давал себя обманывать, потому что никогда не хотел допустить лжи в человеке.

Всякая прекрасная, возвышенная идея запалила его и уносила так, что часто не видя её отрицательных или утопических сторон, загонял себя слишком далеко. Более благородной души найти было трудно – но менее созданной для осуществления запутанной задачи.

Павел с великим скрипом вбежал вниз к ксендзу Стружке, который, как раз окружённый разбросанными по всей своей убогой избе книжками, работал с великим запалом над каким-то трактатом возобновлённых языческих ошибок. Он был так погружён в поиск и мысли, что не слышал ни скрипа двери, ни громкого *Laudetur*, которым его Павел приветствовал. Слуга прелата должен был потянуть его за рукав. Это его испугало. Взглянув на лицо Павла, он крикнул:

– Что случилось?

– Ничего ещё, слава Богу, не случилось, – отпарировал Павел, – но ксендз-прелат очень, очень срочно просит к себе...

– Болен?

– Нет, но чем-то раздражён.

Перескакивая через книги, разложенные на полу, ксендз

Стружка сорвался тут же бежать. На пороге припомнил о необходимом уже в эти минуты носовом платке, за которым должен был бегать, ища его и разбрасывая всё, потому что он был прижат под каким-то большим фолиантом. Наконец они вышли и Павел сам уже закрыл дверь, потому что хозяин об этом не подумал. В течении этого времени прелат немного остыл, сидел более спокойный, но всё же ещё оживлённый и уже совсем разбуженный от своей дремоты.

– Что же случилось? Что за счастье, – воскликнул с порога входящий, – что я мог понадобиться ксендзу-прелату?

– Садись-ка, садись, успокойся, – ответил больной старец, – дело действительно очень большой важности, но ты, мой ксендз-каноник, что больше общаешься с ангелами, чем с людьми, вроде бы можешь быть в том полезен. Всегда, по крайней мере, сможешь посоветовать.

Ксендз Стружка придвинулся с креслом.

– Я должен говорить медленно, – продолжал далее прелат, – мне не хватает дыхания, но постепенно всё расскажу тебе. Дай мне совет. Я бы положился на твоё сердце, на голову не могу. Ты святой человек, а тут человеческий горшок слепить нужно... а не святые горшки лепят...

Он вздохнул.

– Только слушай. Я старый, больной, чувствую, что в любую минуту может прийти освобождение... пробьёт последний час. Не хочу с собой уносить на тот свет бремени не исполненного долга.

В особенных обстоятельствах некая умирающая особа доверила мне весьма деликатное дело. Я не мог исполнить её воли... а, наверное, сам уже не справлюсь. С людьми я порвал, знаю их не много, выбора сделать не сумею, а долг мой на кого-нибудь достойного, не рассеянного, как ты, более холодного, чем ты, я должен сдать.

Ксендз Стружка задумался.

– Это правда, – сказал он, – что, если, кроме честности, нужно чего-то больше, например ловкости, терпения, сдержанности – я их не имею. Я неисправимый горячка, хоть каждый день прошу Господа Бога, чтобы мне помог вылечиться от этой болезни. Отторгнутая природа возвращается...

Прелат слегка рассмеялся.

– А ты старый, – добавил он.

– А постареть к лучшему не могу, – отозвался ксендз Стружка, – всё более легкомысленное из меня вымелось...

– Боже мой, а если бы ни эта твоя горячка, никому бы охотней не доверил я этого наследства. Но слушай, каноник, слушай, это *sub sigillo*² только тебе поверить могу. Если рассчитываешь, что сможешь добросовестно взяться, умру спокойно; если нет, ты мне человека укажи...

– Меня эти людишки каждый день обманывают, – вздохнул ксендз Стружка, – потому что слабые и бедные. В чём они виноваты...

Они на какое-то время замолчали.

– Стало быть, что? – спросил каноник.

– Сперва иди и Павла, который иногда имеет излишнюю слабость прикладывать ухо к двери, отправь на галерею, запри двери и возвращайся.

Каноник с привычной своей живостью побежал исполнять поручение, вернулся и сел.

– Тому несколько лет, – медленно отозвался ксендз Еремей, – хоть больной уже, я был вызван в *articulo mortis*³ одной особой, которую называть тебе нет необходимости. Была это достойная пани, всеми уважаемая. Не догадался? Но слушай. Этой пани было нужно под клятвой доверить бумаги и средства, которые предназначила для ребёнка... которого признать раньше не могла, а ущемить не хотела.

Семья её так противилась повторному замужеству, что оно осталось тайной навсегда. Поддалась бедная женщина настоянию людей тщеславных и свою совесть готовых жертв-

² За печатью (лат.)

³ Приближение смерти (лат.)

зовать гордыне, но в момент смерти – пришло покаяние. За что же должен был страдать ребёнок? Бедная женщина поверила мне доказательства своего второго брака, метрику ребёнка и средства, ему предназначенные. Мне поручили найти этого мальчика, а сегодня уже мужчину, и в его руки сложить мой депозит.

Прелат вздохнул.

– Тем временем разыскиваемый исчез от меня... я слабый, искал его на все стороны и найти до сих пор не мог. Этому препятствовала семья покойницы, которая о чём-то догадывалась и хотела помешать... хотела даже бумаги от меня получить.

– Но ты их не отдал! – прервал ксендз Стружка.

– Даже хорошо о них не знают, – говорил далее прелат. – Ко мне в любой час может прийти смерть... вдруг эти бумаги и деньги... потеряются, пропадут!

– Это правда, это правда, – начал задумчивый каноник, который уже, не в состоянии усидеть в кресле, ходил, положив руки на крест, – но, мой ксендз-прелат, я был бы человеком без совести, если бы взялся за дело, которое могу только испортить. Деликатное дело для моих медвежьих лап... Я более или менее понял, о чём идёт речь, чего нужно – это не моя вещь...

– Но что, если со мной несчастье?...

– У меня есть всё-таки честные люди, а не обязательно нужен духовный, – говорил ксендз Стружка, – я подумаю над человеком...

Прелат вздохнул.

– Говоришь: *подумаю*, а времени нет, – сказал он умоляюще, – иди, возьми шляпу... отравляйся в город, выбери кого-нибудь, за кого можешь поручиться, пусть я с рук сдам. Буду более спокоен... Чувствую себя нехорошо...

– Но, ксендз-прелат, ты сегодня выглядишь лучше, чем обычно... столько силы, столько жизни...

Прелат рассмеялся.

– Разве не видишь, что я это добыл из себя, чтобы долг исполнить.

Ксендз Стружка ходил и потирал голову.

– А ну! А ну! Успокойся, ксендз-прелат, – сказал он, подходя к нему, – мне нужно время по меньшей мере до завтра. Вещь важная, легко её принимать нельзя.

– Возьми, по крайней мере, депозит от меня, потому что какой-то страх меня охватывает.

– Я? Депозит? Это было бы хорошо! – воскликнул каноник. – Когда я вечно не знаю, где что кладу, и ни одного целого замка нет у меня в доме. Завтра его всё-таки отдашь.

– Значит, завтра, завтра, утром... как можно раньше, – сказал успокоенный прелат, – а теперь, мой добрый каноник, отвори Павлу... и позволь мне отдохнуть, чувствую, что чрезвычайно напряг силы.

Говоря это, ксендз Еремей опустил голову, склонился к креслу, прикрыл глаза и казался как бы спящим. Ксендз Стружка выбежал за Павлом и спустился по лестнице в своё жилище.

Весь охваченный поручением, ему данным, ещё один платок упаковав в карман, потому что очень заботился о том, чтобы его часом не забыть, направился в город искать честного и деятельного человека.

Тем временем Павел, поскольку пришёл обеденный час, принёс столик к креслу прелата и, не пробуждая его, начал накрывать на стол. Внизу, в кухонке, готовили ему обычно бульон и стряпали котлеты, которые с печеными яблоками составляли весь обед ксендза Еремея. Когда зазвенела принесённая тарелка, прелат проснулся, дрожащей рукой взял ложку, начал в молчании обедать и Павел очень обрадовался, видя, что усталость не отобрала у него аппетита. Чего давно не было, ксендз-прелат велел принести себе рюмку старого вина, которую выпил после обеда. К вечеру Павел пришёл, как обычно, с кофеином; после

прочтения молитвы прелат велел проводить себя до кровати. Только теперь Павел начинал жить, потому что своего старика уложил в кровать. Так было в этот день.

На следующее утро в час, предназначенный для подъёма, Павел проскользнул к кровати, кашляя. На этот звук прелат обычно пробуждался и крестился. В этот раз, однако, заснул, видно, слишком крепко и Павел откашливался раз и другой напрасно. Осмелился даже приблизиться к спящему и нашёл чрезвычайно бледное лицо. Слегка взял его за руку – она показалась слишком холодной.

Ксендз-прелат умер...

Бедный Павел выбежал, испуганный, вниз к ксендзу Стружки.

– Ксендз-каноник... мой добрый пан... мой золотой... мой дорогой прелат...

Стружка стоял онемелый.

– Ксендз-прелат умер...

– Это не может быть, – крикнул, бегая, каноник, – этого быть не может.

Слугу послали за лекарем... оба вбежали на верх. Прелат, словно спящий, улыбающийся, с мягким выражением на лице, уже был холодным и не подавал признаков жизни.

Вскоре прибежал вызванный лекарь, живший по соседству. Осмотр тела убедил, что смерть должна была наступить ещё около полуночи от сильного удара крови в голову.

Можно себе представить отчаяние ксендза Стружки, который вчера отказался принять депозит. По правде говоря, осталась слабая надежда, что о нём можно будет упомянуть наследникам... но ксендз Стружка, собственно, сам не знал, чего он от них должен был требовать, а никаких свидетелей не мог бы найти на то, что действительно депозит был назначен ему.

В этот же день тело было вынесено из комнаты, бумаги и всякое движимое имущество опечатаны. Ксендз Еремей имел своим единственным наследником младшего брата, владельца маленькой деревеньке в Галиции, которому тут же дали знать. Был это отставной офицер с 1831 года, большой, как говорили, чудака и скупца, старый холостяк, живущий в окрестности Кракова.

* * *

Старые девы и старые холостяки есть достойными сожаления жертвами, над которыми издевается злобный язык и безжалостное перо; общество не может им простить того, что, как пустые колосья, стоят они над нивой, освободившись от обязанностей, и как бы представляя отдельное братство паразитов. Однако же среди этого мирового ордена, повсеместно высмеянного, сколько скрывается забытой боли, чужих вин, за которые они терпят, молчащие, жертву, и скромной жизни, паразитирующей и несчастной. Самая безжалостная из всех статистика указывает, впрочем, что этих умерших зёрен всегда некоторая численность должна находиться в данных условиях. Мы должны им скорее великое сочувствие, чем издевательское осуждение. Особенную снисходительность, которой мы для них просим, заслуживал почтенный профессор Куделка, которого мы видели на утренней экскурсии ищущего такие особенные растения.

Более чем восьмидесятилетний, резвый и живой профессор, кроме маленькой пенсии, которую получал, не желая освобождать себя от обязанностей, так как его обременяла занятая жизнь, не имел совсем ничего. Жил, впрочем, бедно и скромно, никаких вредных привычек не имел, для себя мало в чём нуждался – и, несмотря на это, денег ему всегда не хватало. Причиной этому была и великая его услужливость бедным, и одна несчастная страсть, невинная, но пагубная. Как много беспечных людей, которые думают, что ничего плохого не делают, покупая себе несколько ладных и милых книжек; профессор начал от необходимых в своём призвании классических трудов; случай навязал ему приобретение нескольких

библиографических редкостей; потом собранная горстка требовала какого-то систематического дополнения, потом кто-то подарил ему одну книжку, другая сама пришла. Из этого сложилась библиотечка, а что хуже, выросла с ней и настоящая страсть. Естественные науки привели с собой дорогие монографии, труды с рисунками; захотелось собрать гербарии... не заметил профессор Куделка, как два покоя заросли книжками сверху донизу. Потом книжки начали тиснуться на стулья, на канапе, встали на камин, вытолкнули печь, влезли под стол, засыпали пол и нужно было одного утра принять другой покой, потому что уже ни спать, ни есть было негде.

Страсть также росла... От красивых изданий до библиографических редкостей и древностей только шаг... до влюблённости в широкие маргинесы, пергаментные экземпляры, оригинальные обложки, уникамы, белых ворон, библиографические тератологии. Профессор Куделка дал захватить себя в когти этой безжалостной страсти собирателя; библиотека заняла у него два и три покоя, наконец, четыре, не дала дышать, сделала его невольником хозяина дома, который каждый год грозил ему отказать в квартире и увеличивал плату за наём второго этажика, который уже теперь весь занимал несчастный.

Сам профессор выехал со своей маленькой кроваткой на тыл, в бедную, тёмную и влажную комнатку, в которой книжки жить бы не могли, потому что их там влажность съедала. В этой тесной каморке он спал, ел, прятал свои вещи, остальное жилище снизу доверху, даже посередине, занято было шкафами и фолиантами.

Профессор был одновременно несчастным и самым счастливым из людей – по-настоящему радовался с трудом добытыми экземплярами таких редкостей, каких не имеют некоторые королевские библиотеки – но сколько же страха, тревог и боли... на случай пожара, какой-нибудь опасности от воров, какое мучение с людьми, что используют книжку, чтобы, её не читая, держать год где-то брошенной в углу.

Кроме того, маленькая пенсия профессора и всякие сбережения шли на эту библиотеку, составление которой стало целью его жизни. Никогда ему даже в голову не приходило, что, не имея детей, не кому будет оставить этого скарба, и что после его смерти, аккуратно зарегистрированные, они пойдут под молоток, распространяясь по широкому Божьему свету.

Когда не было лекций, когда пора не позволяла прогулки, профессор закрывался со своими книжками и хозяйничал. Оснащённый щёткой и пёрышком, он удалял пыль, вытирал, расставлял, проветривал, пересматривал, улыбался – читал.

На этом милом занятии проходили долгие часы. Тогда он забывал обо всём на свете, о жизни, о её нуждах, о голоде и холоде и только темнота или звонок в дверь прерывали это восхитительное путешествие.

Уже знающие его слабость антиквариата присылали ему со всех концов света каталоги... наступало их чтение, как самый красивый сенсационный роман, сопоставление с собственными списками, потом борьба с великим искушением и худым кошелёчком, пересчитывание кассы и частые посты на молоке, булке и кофе для покупки какого-нибудь Алда или Элзевира.

Это занятие, казалось бы, такое сухое, не охледило ему душу – напротив, казалось, омолаживает его и оживляет. Он загорался на невиданные книжки, как на выдуманных любовниц. А как же часто неизбежной человеческой вещью в свою очередь после самых прекрасных надежд наступало грустное разочарование. Тот экземпляр, который в каталоге стоял, как великолепный и чудесно сохранившийся и только капельку на конце пятнистый, приходил жёлтый, грязный и безжалостно помятый. Иной, что должен был иметь только маленький дефект на челе, носил нестираемый шрам.

Спасши висельника, профессор сильно занялся его судьбой – но, к несчастью, недавно купил самую ненужную ему, но прекрасно сохранившуюся хронику франкфуртского мира с рисунками Вольгемута... пошли на неё последние талеры.

Нужно было одеть несчастного... поэтому он сделал ещё кредит; потом следовало его куда-то поместить. В библиотеке ни места, ни возможности не было, в той тёмной комнатке места для двоих не хватило. Пустить его одного в свет казалось опасным. Профессор был в немалых хлопотах, но привык так верить в Провидение, которое его не раз чудесным образом вырывало из самых тяжёлых осложнений, что, имея более десяти часов до вечера, он не сомневался, что их хватит на вызволение его из этой беды. С великой осторожностью, дабы этого пришельца в доме не выследили, проводил его профессор на верх. Там он героично поместил его в той тёмной каморке.

– Мой пане, – сказал он, вводя его, – это всё моё жилище. Не особенное... нет, это правда... но, что же делать, я имею тут несколько комнаток, занятых книжками, а там нет места и для мыши, не только для человека. Между тем вы займёте мою кровать и тот уголок, а я до вечера что-нибудь придумаю.

Мурминский огляделся, не говоря ни слова.

– Это всё ваше жильё, пане профессор? – спросил он.

– Но где же, – фыркнул Куделка, – у меня несколько комнаток, а там всё-таки книги нужно было поместить, потому что они в солнце и воздухе, и в хорошем лакее нуждаются больше, чем человек. Ложись, когда хочешь, на кровать, могу тебе даже дать какую-нибудь красивую книжку, чтобы тебе не было скучно. Отдыхай, а я побегу искать... жилища, ну и на разведку, дабы тебе найти с чем примириться с жизнью.

Мурминский отказался от красивой книжки, обещал отдохнуть, послушный, а профессор пошёл на разведку. По счастью, в коридоре он сразу встретил служанку и узнал у неё, что на третьем этаже была пустая комнатка для найма. Тут же он взобрался по лестнице, осмотрелся, велел нанять кровать и немного вещей; постарался, чтобы эту комнату привели в порядок, и, объявив хозяину, что берёт покой для родственника, который прибыл к нему на какое-то время, вытащил Мурминского из темноты, поместил на третьем этаже, взял слово, что на себя не покусится, и пошёл в город.

Он имел теперь множество неожиданных потребностей и дел – не мог обойтись без займа денег, хотел чего-нибудь узнать о своём протеже и его судьбе, должен был, наконец, какое-нибудь занятие ему подыскать, так как его целиком взять на свои плечи не имел сил. Через несколько недель они должны были бы жить булками и молоком.

От Мурминского в первые минуты, как можно тщательней его расспрашивая, не много мог добиться – нехотя говорил о прошлом, не подобало также его травить постоянными напоминаниями о нём.

Профессора Куделку любили все – охотно с ним разговаривали, но судьба навязала ему, как на зло, таких людей, от которых ничего узнать было невозможно. Блуждая по разным указаниям, в тот грустный вечер он направился к президенту, где столько вытерпел по причине непослушной одежды и этих ботинок *au naturel*.

Приглашение на следующий день на обед к докторовой-графине весьма ему было на руку.

Мурминский провёл ночь очень хорошо – спал как камень. На следующий день он съел заказанный завтрак, а на усиленные настаивания профессора чем-нибудь заняться для отведения плохих мыслей, попросил Шекспира.

В библиотеке профессора было их несколько... что более удивительно, в одном из своих пеших путешествий, в Голландии, у невзрачного букиниста в маленьком городке Куделка приобрёл за бесценок то издание *in folio*, первое и очень дорогое, которое в Англии ценится на вес золота. Хотел им похвалиться и боялся доверить его в руки человека, кото-

рый, не уважая жизнь, наверное, и этой драматичной реликвии не умел бы ценить. Иные более маленькие Шекспиры равно хорошо могли послужить... Пошли вместе в библиотеку. Куделка неизменно удивился, видя в этом легкомысленном человеке, который, хотя был немного заплесневелым, но внутри не гнилой. Знал Мурминский много книг, неизвестных профессору, и говорил ему о ценах, какие за них платили.

– А тогда ты бы мне отлично, пока для работы ничего нет, мог бы вести каталог, – воскликнул Куделка, – только... только... ты куришь, к чёрту этот табак, а тут огонь совсем ни к чему. Дрожу от одной мысли. Ну и слишком скучал бы – и мог бы мне какую-нибудь новую систему привести. Нет – но, когда так, получишь Шекспира, каких на материке не много...

Мурминский усмехнулся.

– Не хочу его, – сказал он, – я отвлёкся... дайте мне самого дешёвого и плохого – всё мне одно... лишь бы бессмертный Уилльям. Это гений, что лучше всех понимал человека и жизнь. Люди могут ещё тысячи лет марать бумагу... ничего не добавляют, ничего не придумают, чего бы в сокровищнице старого Уилльяма не было...

Поэтому взяли они Шекспира будних дней и вышли. По дороге Мурминский порисовался ещё разными новостями, которыми пренебрегал, как всем, чего касался... и расстались...

Профессор должен был надеть вчерашний фрак, потому что иного не имел, и тот казался ему самым замечательным, но ребелезующие брюки приговорил к ящику, а надел чёрные, менее бросающиеся в глаза и гораздо более послушные... Обернув шею белым платком, который напоминал времена Директории, нащупав в кармане другой, он двинулся к пани докторовой.

Докторова из дома графини... была также эксцентричной особой, каких мало.

Девушкой, прекрасно, старательно образованной, будучи очень богатой и из известного дома, она вышла за молодого бедного мужчину, отец которого жил ещё и служил экономом. Семья, которую это доводило почти до отчаяния, должна была пережить ужасные бури, прежде чем согласилась на эту жестокость. Поставив на своём, она была несколько лет счастлива, муж оправдал её выбор, но, отданный своему призванию, он вскоре пал его жертвой. Тифозная горячка забрала его. Два года потом бедная вдова просидела замкнутой...

Вышла на свет сломленной, постаревшей, равнодушной ко всему, и, хотя много докторов и аспирантов просили её руки и к ней два фольварка, сказала, что замуж не пойдёт, и не пошла. Земли пустила в аренду. На лето в одной из них выпросив себе двор с садом, наняла в городе удобное помещение и вела жизнь свободно, спокойно... не много видя людей – и от нападок света, языков и глупых конкурентов так храбро защищаясь, что в конце концов никто её зацепить не смел. Была это – *hic mulier*...

Она не колебалась ни говорить правды, ни плохой привычке сопротивляться, ни поступить по своей мысли, хотя бы иные шли противоположной дорогой.

Она не любила света, но не сторонилась его. Читала много, а так как книжки и занятия разнообразными добродетельными ассоциациями совсем не заполняли времени, иногда принимала у себя серьёзных людей. Только, когда какой-нибудь воодушевлённый и введённый в заблуждение её доверчивостью начинал мечтать о конкуренции, вдова давала ему суровый и решительный отказ, чтобы напрасно времени не терял. Смеялись над ней, что иногда оборванных уличных детей булками и тортами привлекала к себе и силой сажала за чтение или писание, что имела бедных протеже, которые злоупотребляли её добротой, и которых она старалась постепенно реализовать в работе... Имела и иные фантазии этого рода... а вдобавок очень любила цветы.

В доме пани докторовой было богато, достойно, но не пышно. Зелено было в покоех от вазонов, книжек достаточно. Салон с фортепиано, никакой элегантности... Те, что там

бывали на обедах, жаловались, что стол был по простой кухарке, здоровый, может, но очень не изысканный.

Профессор Куделка так же редко тут бывал, как и в других местах. Для него само название салона имело в себе что-то ужасающее. Салон требовал фрака, а профессор ненавидел этого наряда и всего, что идёт с ним и что свободу человека смущает.

Таким образом, он вошёл в это царство Флоры довольно смущённый, хоть наряд его уже не тревожил. На пороге второго покоя его встретила докторова, подавая ему руку, которую старик, согласно давнему обычаю, поцеловал.

– Дорогой мой профессор, – сказала она, смеясь, – будете со мной обед есть домашний, повседневный, *en tete a tete*, для которого фрака брать не нужно. Жаль, что вам вчера этого не поведала.

– А! Жаль! – наивно ответил старик. – Потому что, сказать по правде, фрак мне портит настроение... я в нём как ограбленный.

Пани докторова посинела.

– Ну, сталося, – проговорила она, – забудь о нём. Совсем никого не просила, потому что хотела объяснить о том Тадзе Мурманском, о котором совсем не нужно было говорить президенту. А то эта вещь, – добавила она, – о которой он только близким рассказывает в четыре глаза. Но, во-первых, профессор, откуда вам пришло о нём думать и говорить? Это не без повода...

Старик смешался...

– Вы меня знаете, – прибавила она, – что я не сплетница... если спрашиваю, то для того чтобы быть полезной. Всё-таки вы, старик, не любящий салона и фрака... не бывающий на ужинах, так из-за простого любопытства к президенту пошли...

Куделка начал тереть лысину, но молчал.

– Что же? Какая-то тайна?

– Что-то наподобие... – шепнул он несмело.

– И не скажешь мне?

– Скажу, – проговорил, подумав, старик. – Благотельница, вы можете мне дать добрый совет, а навредить бедному человеку не захотите...

– Подожди же, – прервала хозяйка, – к столу подают, люди ходят, после обеда поговорим.

Обед был фермерский, для Куделки, привыкшего часто к сухой булки с молоком, в котором было больше воды, чем питательной части, штука мяса и жаркое показались пиром Лукулла. Женщина собственноручно налила ему несколько рюмок старого вина; старичок оживился и разговорился.

Сразу после десерта вошли в кабинет.

– Скажите мне сначала, что знаете о Мурманском.

Профессор очень наивно и не без юмора, ему свойственного, рассказал историю своей утренней экспедиции и как спас от петли несчастного бродягу.

Докторова слушала с большой заинтересованностью, без женских выкриков, но сильно взволнованная. Прошлась потом несколько раз по покою, словно не имела охоты говорить. Профессор ждал.

– Что с ним думаете предпринять? – спросила она.

– Ищу для него занятие.

– Сначала узнайте его получше, – отозвалась она, – человек, который дошёл до того, что от отчаяния в молодом возрасте покушался на свою жизнь – труден для управления. Вы должны быть с ним осторожны.

Я только могу вам рассказать о его прошлом, – добавила хозяйка. – Вы, небось, знали покойную президентшу, была это особа добрая, уважаемая, но очень несчастная. Отец

нынешнего президента, человек достойный и честный, был в то же время самым невыносимым существом под солнцем.

Имел припадки гнева, которые отбирали у него сознательность, бушевал без причины. Не имел над собой ни малейшей силы – жить с ним было постоянным мучением. Когда он умер, жена его очень оплакивала, но даже вдовство должно было быть ей наиболее милым, чем та ежедневная борьба, в которой нужно было каждую минуту усмирять, защищать, заслонять мужа.

Измученная, оставшись с одним сыном, президентша занялась усердно его воспитанием. Навязали ей гувернёром для ребёнка некоего Мурминского – не знаю точно, что с ним стало. Я знала его, был это человек милый, талантливый, мягкого характера, а, так как в то время десять лет воспитанием занимался, отлично понимал, как мальчиком управлять.

Не могу вам сказать, сколько в том правды, – начала тише докторова, – но люди начали поговаривать, что президентша в него влюбилась, он – в неё и т. п. Семья начинала беспокоиться... На второй год, несмотря на разные убеждения, советы и напоминания, президентша с сыном и гувернёром выехала в Италию на несколько месяцев. Считалось, что когда вернулись, Мурминский был в доме на более близкой стопе и почти всем управлял. Тогда великий ужас, испуг и интриги всего рода, дальних и близких, отравили президентше жизнь. Держалась одна против всех... Любила его, в этом нет сомнения. Измучили её вконец, так, что под предлогом здоровья отправила мальчика, Мурминского с сыном, за границу... Он ушёл с их глаз... но она постоянно ездила к сыну и к нему...

В это время как-то очень быстро появился сиротка, вроде бы кузен, племянник... или там какой-то дальний родственник гувернёра... Тадзио Мурминский, которого президентша взяла на воспитание и занялась им так заботливо и показывала ему столько любви, словно был её собственным ребёнком.

Тут докторова ещё понизила голос:

– Разве вы не заметили того, о чём мне говорили, что тот Тадзио как две капли похож на президента?

Профессор задумался.

– В самом деле, – сказал он, – это два разных лица, но тип един. Люди на первый взгляд непохожие друг на друга, а по одному каждый из них напоминает другого.

– Ходили разные вести, что президентша тайно замуж за него вышла и только навязчивой семье обещала, что сохранит это в тайне... Мурминский воспитал президента, который его терпеть не мог, потом показывался тут иногда, жил – докучали ему неизменно. Начал бывать всё реже, президентша отправилась путешествовать за границу и... и что с ним стало – никто не знает. Не слышно было, что он умер.

Тем временем Тадзио, от которого семья также ревностно хотела отделаться, старанием президентши воспитывался, как паныч. Нежила его, забывалась и компрометировала себя этим ребёнком, которого повсеместно считали её собственным. Сегодняшний пан президент, на несколько лет старше, пылал настоящую ненависть к этому сопернику, который у него отбирал материнское сердце. Но ни усилия родни, ни взрывы сына, ни смогли вынудить президентшу к отречению от воспитанника. Только когда он вырос и в опеке не нуждался, она выслала его, оплавав расставание, за границу. Что с ним сделалось потом, уже не знаю.

Президент дошёл до совершеннолетия.

Он всегда уважительно относился к матери, но любовь, что должна была соединить с ней сына, была вырвана из сердца по причине воспитанника. По поводу этого таинственного брака и мезальянса, который был всеобщим слухом, президент требовал от матери, чтобы однажды открыто объявила, что это всё было ложью. Кажется, она отказала сыну, что больше, в разговорах была так неосторожна, что часто наполовину признавалась во втором

муже и сыне. Родня по этому поводу, испуганная компрометацией, начала распускать новости, что президентша от невралгии получила лёгкое безумие и то, что говорила, от этого.

Один Бог знает, что выстрадала эта женщина, была грустная, несчастная и редко её кто видел иначе, как с заплаканными глазами. Собственное имущество обременила значительными долгами и догадывались, что сделала их, чтобы обеспечить второго сына. Пока только позволяло здоровье, она выскальзывала, несмотря на просьбы сына, за границу. Начали распускать вести, что тому воспитаннику жилось очень плохо. Бедная женщина тонула в слезах... Страдание её и судьбу покрывает тайна. Мы знаем только, что, чувствуя близкую смерть, она позвала старичка каноника или прелата Еремея, который, возможно, до сих пор жив. Президента не было дома, когда он прибыл, рассказывали, что она отбыла долгую исповедь, слуги болтали, что отдала ему какие-то бумаги, деньги.

На этом кончается моя история, – закончила докторова. – Стало быть, видите, профессор, что я имела причину просить вас, чтобы президенту о Тадзе не напоминали.

– А я, благотельница, – прервал профессор, – был такой упрямый, что спросил его и разгневал.

– Я догадалась об этом, – с грустной улыбкой добросила хозяйка. – Есть ещё один повод, из-за которого эти – братья или не братья – должны были друг друга возненавидеть.

– Ещё один? – спросил профессор.

Докторова усмехнулась.

– Повод для нас, старших, уже не очень понятный, но самым ужасным образом ссорящий людей – любовь.

Испуганный Куделка взмахнул руками.

– Вы также когда-то любили, пане профессор? – шутливо спросила докторова.

Библиоман дивно скривил лицо, услышав вопрос, достающий до глубин его вечных воспоминаний.

– А! Моя благотельница, – ответил он, складывая руки, как для молитвы, – может быть, я особенно между восемнадцатым и двадцать шестым годом испытал эту болезнь, которой в целом все подвержены, но сегодня – пепел засыпал эти памятки юношеских безумий. С тридцати же лет, могу поручиться, что, кроме книжек и науки, в сердце ничего не осталось, что бы его благим образом могло разволновать.

Хозяйка ударила его по плечу.

– Но не все такие умные, – отозвалась она, – или такие счастливые, чтобы любовь одного существа, как вы, могли в себе переделать в общую любовь людей. Когда оба те пана, наш уважаемый президент и юноша Тадзио, ещё были тут вместе, президент, сегодня такой суровый и на вид холодный муж красивой Джульетты, смертельно был влюблён в богатую и очень красивую Тола 3. Панна Тола, родители которой умерли раньше, воспитывалась у тётки. Тётка, графиня Помпадур (как её тут все называли), жила на большой стопе. Сама была ещё красивой и хотела почестей. Дом всегда полный, весёлый, открытый, манил всю молодёжь по соседству. Наследница многих деревень, на выданье, можете себе представить, скольких мотыльков притягивала к своей особе. А она была и есть не только красивая и богатая, но умная, остроумная и смелая.

Рассказывали, что она довольно милым оком поглядывала на президента, когда появился убогий воспитанник президентши, этот Тадзио Мурминский, и президента, а с ним весь ряд иных претендентов отбросил. Панна им так скандально занялась, что тётя должна была отказать ему в доме. Спустя полторы недели после этого, должно быть, произошло что-нибудь важное между тётей и племянницей, потому что графиня Помпадур поехала к президентше и, застав там Тадзио... с румянцем на лице попросила его, чтобы бывал снова.

Тётя Помпадур всегда нуждалась в деньгах, богатая племянница обеспечивала ими, догадывались, что пригрозила оставить её дом и отказать в дальнейших субсидиях. Поэтому

тётя должна была согласиться на условия, но умела справляться. Насадил на племянницу целый рой опекунов и влияние семьи. Не давали ей покоя. Дядя панны поклялся, что никогда на свете брак не позволит... Хотели её выдать за президента. Панна с великим характером в свою очередь обещала, что никогда за него не выйдет. Из этого вырос настоящий ад.

Тадзио после нескольких посещений тёти должен был отказаться от дальнейшего соперничества. Что произошло между ним и девушкой, не знаю. Выехал вскоре за границу и исчез. Президент, немного остыв, на зло женился на той чудесной нашей Джульетте.

– А панна Тола? – спросил тихо профессор. – Панна Тол а?

– Панна Тола живёт со старой гувернанткой у себя на деревне. Одичала и сделалась независимой и странной. Каждый год немилосердно даёт несколько или более десятка гороховых венков теснящимся воздыхателям... делает себе голубые чулки и жестоко скучает. Иногда выезжает за границу, временами живёт в Дрездене или Берлине, путешествует, занимается музыкой, зачитывается книжками... и громко объявляет, что решила остаться старой девой.

– Поссорились с моих постояльцем? – спросил задумчивый профессор.

– А кто это может знать! – рассмеялась докторова. – Ни как друг с другом расстались, ни что в их сердцах живёт, а что умерло... никто не знает. Тола ещё очень красивая, хоть зрелая, а, скорее, хочет прикидываться старой...

Достойный Куделка сильно задумался.

– Хотел повеситься, видно, ниоткуда никакой надежды не имеет.

– Столько лет, мой профессор, – вздохнула докторова, – имели время остыть. Президент имеет красивую жену и любит её, насколько такой степенный человек может любить... а, несмотря на это, люди говорят, что когда в обществе случайно встречается с этой первой своей любовью, меняется его лицо... останавливает на ней взгляд... глупеет и жена на него гневается.

Закончив, докторова позвонила насчёт кофе.

– Я положила вам в уши, мой достойный Куделка, – сказала она, – больше, чем было нужно. Это старая история... Лучше бы, видимо, посоветоваться, что с ним делать.

– Тем паче, – добавил профессор, – что я, что мне, то есть я не говорю, что он для меня обуза, но я часто в таком положении...

Он выговорил это с грустью и, сам также испугавшись искренности, замолчал.

– Я понимаю, что вам, неприготовленному, может быть трудно такое бремя поднять. Но, был ли Тадзио сыном или воспитанником президентши, быть не может, чтобы она, любя его так, могла о нём забыть. Согласно всякому вероятию, ксендз Еремей должен что-то знать о том... не следовало бы его спросить?

– А да! Да! – подхватил обрадованный Куделка. – О! Стократно вам благодарен, пани благотельница, за эту счастливую мысль. Завтра пойду к нему... издалека... спрошу... осторожно...

– Между тем, если бы вы были в каких-нибудь хлопотах, – прервала докторова, – не будьте ребёнком, одалживаете у евреев, возьмите у меня...

Восьмидесятилетний старец покраснел от этих слов как пион... испугался – никогда в жизни ни у кого, кроме евреев и ростовщиков, не брал ещё займы...

– Пани благотельница, не нужно! Не нужно! Я, должно быть, плохо выразился... действительно, совсем не нужно и в сотый раз, пани, складываю благодарность.

Хозяйка рассмеялась.

– Не чуди, старик, – сказала она, – если бы ты нуждался, мне несколькими талерами, а даже и сотней, ничуть разницы не сделаешь... а ростовщики тебя съедят...

Зарумянившийся старец с испуга схватился за шляпу – и начал прощаться, забыв даже, что не допил кофе.

Докторова вернула его к этой обязанности замечанием, что, пожалуй, кофе был нехорошим... Кофе был отличным...

Немного синевя, хотя профессор был грустен в душе, допил его, и Куделка почувствовал себя в праве проститься с хозяйкой. Уже первый поклон и целование руки были начаты, когда вбежал слуга, объявляя приход панны Толи.

– Задержитесь, тогда её увидите, – шепнула докторова живо. – Невозможно, чтобы вы были не любопытны. Я не знала, что она в городе. Это пора, в которую она обычно выбирается за границу, должна быть в путешествии.

Профессор, уверив себя, что потом сможет потихоньку выскользнуть, со шляпой в руке встал сбоку.

В эту же минуту послышался живой шелест платья и шибкая и смелая походка, затем показалась на пороге, как Куделка позднее говорил, Юнона.

Была это очень великолепная, во цвете молодости, но серьёзно одетая, красота, которую только можно было сравнить с красотой пани Джульетты. Высокого роста, сложения статуи, с приказывающе и немного гордо поднятой головой, со смелым и проникновенным взглядом, она входила, мягкой улыбкой приветствуя хозяйку, к которой вытянула обе руки.

Одежда не была небрежной, но в стиле строгом и более старом, чем требовал возраст. Несмотря на тёплый день, она имела на себе платье из тяжёлой чёрной материи, немного скользящей, без каких-либо украшений и добавлений, кроме нескольких фиолетовых лент. Ни одна блёстка не светилась ни на груди, ни на красивой белой шее, как из мрамора вытесанной. Несмотря на эту одежду матроны, она светилась молодостью, свежей и буйной. Лицо немного грустного королевского выражения, и, как говорил профессор, имело в себе что-то от Юноны. На вид её и на мысль, что тот оборванец, которого он спас, мог влюбиться в такую богиню, Куделка остолбенел, и остолбенелого докторова представила его прибывшей.

За Толей шла её неотступная спутница, некая жена барона Тереза фон Зейн, из польского дома, особа тихая, мягкая, спокойная, не вмешивающаяся – с которой Тола отлично ладила и любила её как сестру... Та уже не первой молодости пани, всё состояние которой муж проиграл в карты, жила на милости своей ученицы, но была для неё самой нежной подругой и самой любимой поверенной.

Среди первых слов разговора, профессор, который уже достаточно присмотрелся к Юноне, посчитал нужным ускользнуть незамеченным, тем более был беспокоен за гостя и Шекспира.

Нашёл их обоих в самых дружеских отношениях. Мурманский читал, лёжа, «Ромео и Джульетту» в пятидесятый раз в жизни, и так был проникнут драмой, что не сразу услышал и увидел Куделку.

Профессор не хотел ему признаваться, ни где был, ни кого видел. Осмотрев, что ему было на сегодня нужно, попрощался пожатием руки.

Мурминский вернулся к драме...

– Мой добрый профессор, – воскликнул он, – ты не знаешь, что за счастье дал мне в этом Шекспире. Вселяясь в чужую боль, человек немного о своей забывает. Но, ради Бога! Работы, какой хочешь работы... потому что меня эта мысль задушит, что живу твоей милостыней.

– Найдём, найдём! – сказал, уходя, профессор. – Только немного терпения.

На следующее утро, хорошо помня, что должен был увидаться с ксендзем Еремеем, профессор просто с лекции пошёл до указанной каменицы. Он как раз имел на устах вопрос, где живёт ксендз-прелат, когда на него наткнулся бегущий слуга.

Кучка любопытных стояла под галереей во дворе, где был подъём на верх.

– Он был старый... где же! Имел девяносто лет, что удивительного, – говорил один.

– Но вчера здоровёхонький, болтал, ел, Павел говорит, что его давно таким не видел. Ещё рюмочку вина выпил за обедом. Ксендз Стружка ходил к нему... а... сегодня утром... *caput!*

– Слышал, старикашка как бы спал...

– Кто же это такой умер? – очень вежливо спросил профессор, поднимая шляпу.

– Ксендз-прелат Заклика... ксендз Еремей, – сказал один из присутствующих.

Куделка опустил в землю глаза – было уже не за чем идти. Опоздал на двадцать четыре часа...

– Такая судьба бывает у тех, которых преследует какое-то несчастье и фатализм, – сказал в духе грустно старик.

С ксендзем Еремеем угасла последняя надежда для бедняги.

Он вздохнул. Зачем ему уже и говорить о том... или об этой панне, для которой он сегодня, бедолага, не пара.

Но всё-таки есть Провидение – дадим ему как-нибудь помочь.

* * *

Докторова, которой Господь Бог детей не дал, из доброго сердца и из тоски довольно любила заниматься делами ближних, но таким образом, что им охотной была помощницей и никогда, по крайней мере, по доброй воле, вредоносной. Не было это для неё забавой чести, но дополнением обязанности. Часто удавалось предотвратить плохое, ускорить или побудить сделать хорошее. И в этот раз, увидев входящую на этот разговор Толю, она подумала, что следовало бы постучать в её сердце и попробовать, что там также в нём делается.

Сели на канаве – подруга Толи, редко вмешивающаяся в разговор, когда не была вызываема, отошла, рассматривая богатую коллекцию цветов хозяйки. Докторова долго смотрела на красивую панну, с которой была в давних и дружеских отношениях.

– Моя Толя, – сказала она, не спуская с неё глаз, – какая ты всегда красивая... какая свежая и молодая и как дивно по тебе видно, что – счастлива.

Толя повернула к ней серьёзное и мягко улыбающееся лицо.

– Знаешь, – отвечала она, – я бы не удивилась ни одному открытию на моём бедном лице... но что ты на нём сумела вычитать выражение счастья...

– Я ошиблась? – прервала хозяйка.

Толя молчала, опуская глаза.

– Мы, панны, – отозвалась спустя минуту, – не можем быть счастливы, в этом нам отказано, наше состояние есть постоянным ожиданием... а если бы уже имели счастье, мы должны были бы осудить себя на то, чтобы остаться вечной девой. Что до меня, ты, может, настолько отгадала счастье, что я в действительности не думаю идти замуж и поэтому спокойна... я удовлетворена, не требую ни больше, ни иначе.

– Значит, я была права.

– Да, – вздохнула Толя, – я умела отказаться от мечты; живу реальностью и – мне сносно.

– Но почему бы тебе не пойти замуж? – спросила докторова.

– По крайней мере, буду защищаться от этого, – рассмеялась Толя.

– Наталкиваешь меня на размышления, – отпарировала на это женщина, – что имеешь какие-то дорогие воспоминания, которые тебе свет заслоняют.

– Первый раз слышу тебя такой пытающейся исповедать меня, – отозвалась красивая панна. – Разве имела и ты для меня конкурента?

Докторова начала смеяться.

– А! А! Это против моих принципов, – воскликнула она, – никого не женю и не развожу никого.

– Я отдыхаю, – сказала Тола, – потому что, признаюсь тебе, что из-за этого вечного сватовства мне мир опротивел. Поэтому я так часто выезжаю за границу, потому что мне дома покоя не дают. Иногда я рада бы, чтобы разошлась весть, что я потеряла состояние; затем, ручаюсь тебе, оставили бы меня в покое и никто бы уже не разгласил.

– Ты несправедлива, – прибавила хозяйка, – из тех, что о тебе старались, я знаю, по крайней мере, одного, который не думал о состоянии.

– Одного? Кого? – хмуря брови, спросила Юнона.

– Не хочу вспоминать его, потому что это был человек бедный.

Докторова подняла голову и словно совсем из другой темы и из иного тона начала:

– *A propos*⁴, не знаешь также, моя милая, что стало с Тадзем Мурминским?

Говоря это, она уставила на неё глаза, следя за выражением, какое произведёт напоминание его имени. Тола осталась вполне спокойной, хотя видно было, что великой силе и владению собой она была этим обязана. Она медленно подняла заплаканные глаза на докторову и, пожимая плечами, сказала:

– Ничего о том господине не знаю. Догадалась, что в нём, наверное, ты хочешь видеть того, что не думал о состоянии, но также он и обо мне не думал. Верь мне. Трус... голова запалённая, сердце непостоянное... не стоит говорить о нём.

Когда она это кончила, в голосе была видна дрожь.

– Не могу о нём судить, потому что почти не знала его, однако есть люди, что лучше о нём утверждают, – говорила спокойно докторова, – а все того мнения, что он безумно в тебя влюбился и что отчаяние его в свет толкнуло.

– Отчаяние! – начала смеяться Тола. – Что за трагичное понятие легкомысленного характера.

– Не знаю более несчастной доли, чем та, что его встретила, – отозвалась докторова, – быть в таком доме, у такого сердца, как у президентши, почти сыном, ребёнком, любимцем, воспитываться в достатках и быть выпихнутым, запрещённым, презираемым... сиротой и бродягой.

– Это правда, – отозвалась Тола, – положение его было неприятным, но не хватило сил, которыми мужчина, достойный этого имени, должен вооружиться для жизни. Не имел силы и отваги бороться и вернуть себе то, в чём ему отказали или лишили его – убежал как трус и чужак. У меня нет уважения к человеку, что не имел мужества.

– Но, дорогая Толи, – прервала докторова, – ты несправедлива. Он бы боролся, если бы имел столько почвы под ногами, чтобы мог на неё опереться. Президентша вынудила его удалиться – ради сына, который этого от неё требовал. Приёмной матери отказать в этом он не мог.

– Но разве так было? И почему, дорогая пани, ты так горячо защищаешь его?

Докторова на мгновение замолчала.

– Что было так, я в этом уверена, а защищаю его потому, что меня больше всего мучает, когда человека несправедливо осуждают.

Тола долго на неё смотрела и, желая, видно, прервать разговор, встала поглядеть цветы, но, проходя около докторовой, неизвестно для чего, схватила её руку и молча горячо её сжала.

Говорили о вещах нейтральных.

– Ты долго тут пробудешь? – спросила хозяйка.

– Пару недель, – ответила Тола.

⁴ Кстати (*лат.*)

– Пару недель! И как же сумеешь избежать встречи с президентом, для которого ты ещё опасна, и президентши, которая вся румянится, когда твоё имя услышит?

– Вовсе не думаю их избегать, – равнодушно сказала Тола, – президента не вижу даже, когда его встречаю... а президентша слишком воспитанная особа, чтобы могла мне показать свою неудовлетворённость. То правда, что оба, особенно он, неприятное производят на меня впечатление... прошу прощения – всё-таки родственники?

– Джульетта... но не принимаю так к сердцу её румянцев...

Они снова посмотрели цветочки и вернулись на канапе. Тола была явно погрузневшей. После разных комбинаций довольно пустого разговора она приближалась к уху докторовой.

– Ты слышала что-нибудь о том несчастном? – спросила она.

Заданный вопрос заставил докторову задуматься, начала забавляться платком, неуверенная, что ответить. Всего доверить ей не могла... полностью лгать не хотела.

– Я что-то слышала, но хорошо это объяснить себе не умею. Говорили мне, что он был несчастлив, что бродил... что его семья президентши совсем отпихнула... Но это слухи.

– Бродил за границей? – подхватила Тола.

– Так говорят.

– Обойтись так с воспитанником матери – никогда этой суровой добродетели простить президенту не смогу, – прибавила Тола. – Ведь это был почти его брат, товарищ... воспитанник дома. Есть добродетели, которые самую добродетель мерзостью подают...

Говоря это, Тола живо вскочила с сидения и начала прощаться, не дожидаясь уже ответа хозяйки. Она кивнула подруге, они вышли...

Для докторовой было явным, что какое-то чувство, хотя бы только милосердие к несчастному, осталось в сердце Толи...

На следующий день, возвращаясь из города, она услышала за собой шаги, и профессор Куделка, бледный, как стена, взволнованный, что с ним очень редко случалось, подбежал к ней, как-то странно приветствуя.

– Пани благотельница, слышите колокола? – спросил он, весь запыхавшийся.

– Да, должно быть, кто-то умер.

– Ксендз-прелат Еремей! Да! Сегодня, сегодня ночью!

Профессор заломил руки.

– Прихожу в канонию спросить, где живёт каноник, нахожу кучку людей внизу... слышу, что говорят об умершем. Кто такой? А это тот несчастный прелат. В двадцать четыре часа...

Невольная грустная улыбка затронула лицо докторовой, она подозвала рукой.

– Не будем говорить о том, – сказала она, – есть фатализм в жизни человека...

Профессор вздохнул, поклонился и пошёл домой.

* * *

Почти в эти же минуты к президенту, который работал при своём бюро над корреспонденцией, постучав, вошла жена в правильном, красивом утреннем наряде... свежая, красивая и розовая как куколка...

– Pardon, – отозвалась она, – не помешала бы тебе, но мне кажется, что эта новость заинтересовать тебя может: ксендз-прелат Заклика...

Президент вскочил от бюро.

– Ксендз-прелат умер сегодня ночью...

Президент бросил начатое письмо и сжал холодно руки жены... лицо его побледнело.

– Действительно, – сказал он, – это грустная для нас новость, он был другом нашей матери. Мне даже кажется, что нужно бы туда пойти – узнать, потому что никого тут из кровных не имеет, и не знаю, есть ли кому заняться... Очень тебя благодарю.

Джульетта холодно усмехнулась, склонила головку и вышла.

Закрывший бюро президент, несмотря на то, что был час, в который обычно сидел дома, взял шляпу и поспешил на канонию. Имел он походку урядника и человека, заботящегося, чтобы его на улице не приняли за лишь бы кого, ходил всегда не спеша, с некоторой торжественностью, как бы за процессией, но теперь по поспешной, неровной, забытой походке беспокойство узнать было легко. Почти уставший президент влетел в канонию.

Внизу стояла ещё та же кучка любопытных бездельников, умноженная новыми элементами, которую тут застал профессор. Все, зная президента, с поклоном уступили. Не вдаваясь в разговор с чернью, он поднялся на верх. На пороге комнаты ксендза Заклики стоял ксендз Стружка, бледный и смешанный, и Павел, который вытирал глаза. Покои как раз опечатывали урядники.

Президент, который, видимо, этот обряд хотел опередить, смешанный, остановился перед первым порогом... ксендз Стружка холодно с ним поздоровался.

– Это великая утрата, а для меня почти несчастье, – отозвался президент, – кто бы мог это ожидать. Вчера его навещал... он говорил много, был оживлённым, казался мне более здоровым, чем когда-либо...

– И я был у него вчера, – пробормотал ксендз Стружка, – он даже дал мне поручение о выполнении сегодня... а сегодня...

– Прошу вас, я при нём с сорока лет, – плача, начал Павел, – я знал его уже как нельзя лучше. Был здоровёхонек, ел, выпил рюмку вина, целёхонький вечерний бревиарий отговорил, это видно по закладкам, потому что я уже по ним узнавал, когда нездоров был, – бывало, только проговорив короткие молитвы, шёл в кровать, а вот... вот...

И Павел начал интенсивно плакать.

– Но кто же тут всем займётся, – несмело вставил президент.

– Я, – сказал ксендз Стружка.

– А из родни, потому что всё-таки из родни кого-то должен был иметь?

– Только одного брата, – прервал Павел, – только майора Заклику, тому сразу надо дать знать, нечего...

Президент был бы рад расспросить Павла больше, помешал ему ксендз Стружка. Через минуту, однако, тот ушёл для организации похорон, а президент остался один на один со слугой. Павел имел великую охоту поговорить – боль свою хотел вылить в словах, только не перед паном президентом, к которому чувствовал непреодолимое отвращение, потому что старый его пан не любил его. В такую, однако, минуту иметь перед кем, хоть неприятным, заплакать, – делает легче. Павел чувствовал это и позволил президенту, у которого было грустное лицо и великое сострадание, войти в комнатку за собой.

Павел сразу вылил всё свое горе и душевную боль так, что президент послушно согласился выслушать и не прерывал его жалоб. Наступили потом вопросы.

– Скажу тебе, пане Павел, доверительно, – отозвался наконец президент, – у этого достойного прелата мы не раз складывали наши бумаги... и даже теперь я что-то имею там у него... Безопасно ли это?

Павел недоверчиво поглядел.

– А всё-таки сразу пришли из суда опечатывать и бюро, и покои... тогда там и самый маленький свиток не пропадёт... А где прелат прятал бумаги?

– Наверно, в бюро, – отозвался Павел, – хотя точно не знаю, что бы он мог прятать. Ни бесхозных денег, ни своих много не было... а насчёт бумаг не знаю... И после смерти никто

туда не ходил, – прибавил он. – Живой души, кроме меня, не было, пока судьи не пришли. Если там что было, то, наверное, найдётся.

– Значит, из родственников только один брат? Расскажите, – допрашивал любопытно президент.

– Один пан майор Заклика, достойный человек, хоть домашний человек и выглядит простым инвалидом... но умный и честный...

Одарив Павла, чтобы имел чем вытереть слёзы, беспокойный президент спустился ещё к ксендзу Стружке, которого застал бессознательно блуждающим по покою. Бедный каноник страдал от поверенной ему тайны, которую из страха вчера не хотел взять на свою совесть, а сегодня она уже ушла в могилу с прелатом. Грызло его это неопишимо, вздыхал и стонал... наполовину бессознательный. Вошедший президент нашёл его сначала таким молчаливым, что слова из него добыть было нельзя.

По нему видно было большое колебание, прежде чем начал разговор, но беспокойство наконец превозмог.

– Я к вам, ксендз-каноник, пришёл за советом и за помощью...

– Чем могу вам служить?

– У меня, у меня есть правдивые причины для того, что я хотел бы и мне необходимо видеть бумаги, оставшиеся после ксендза-прелата. У нас были доверительные отношения при жизни моей матери... много вещей писалось, касающихся фамильных дел, копии которых – ба, даже оригиналы, по-видимому, мать оставила в руках ксендза-прелата. Дело в том, чтобы туда чужие глаза и злые люди бессмысленно не влезли.

– Но бумаги опечатаны! – воскликнул каноник. – В эти минуты слишком поздно...

– Не знаете что-нибудь о завещании? – спросил президент.

– Никто о нём ничего не знает, – сказал ксендз Стружка, – теперь мы должны ожидать, пока придет брат, как единственный наследник... при нём сняты будут печати.

Каноник болезненно вздохнул, вспомнив вчерашний разговор. Президент также беспокойно начал прохаживаться по покою.

– Всё это, – воскликнул он, – очень грустно, очень для меня неприятно. Кто там знает, каким окажется брат Заклики. Мы можем иметь много неприятностей.

Каноник смолчал.

Видя, что и тут ничего не сделается, и даже узнать ни о чём невозможно, президент в молчании покинул квартиру ксендза Стружки и неспешным шагом вернулся домой.

Беспокойство, какое он показывал, было вполне оправданным. Он знал почти наверняка, что перед смертью какие-то бумаги, а, вероятно, и деньги, доверила его мать старому приятелю, он догадывался, что те касались ненавистного воспитанника и могли компрометировать покойницу. Значит, президенту было очень важно добыть бумаги, а теперь уже иного для этого средства не было, только выжидать прибытия брата ксендза Заклики, приобрести его взгляды и с его помощью достать до желанных бумаг. Пана майора не знал тут никто, президент его в жизни не видел... таким образом, задача со всех взглядов представлялась очень трудной.

Профессор Куделка, хотя ни перед кем не жаловался, с этого утра был очень изменившимся и встревоженным.

Он немного поздно заметил, что судьба навязала ему бремя не по силам, с которым с трудом мог справиться. Он сам изо дня в день жил очень малыми деньгами, часто булкой и молоком, в лучшие времена – бульоном и куском мяса из соседнего трактира Кукевича, который ему охотно кредитовал. С пришельцем было гораздо трудней и дороже.

Сначала нужно было велеть носить ему еду, потому что профессор не хотел, чтобы он очень показывался в городе, не зная, не грозит ли его воспитаннику какая опасность – а от него это вовсе было невозможно узнать.

Затем, этот несчастный Тадзио не имел даже рубашки, поэтому, начиная с неё, ему нужно было всё справиться. Наконец, найти занятие для него, чтобы мог работать дома, было также трудно, а выходить было небезопасно, пока профессор не убедится, что ему ничто не угрожает.

Одна неприязнь президента уже была для него страшной, при своих достойных отношениях урядник мог одним словом толкнуть отчаявшегося уже человека в новую пропасть или побудить к какому-нибудь неосмотрительному шагу.

Между тем дома не хватало денег и профессор втихаря должен был заложить золотые часы. Разве он мог оставить несчастного? Стыдно ему было попрошайничать.

Первого дня спасённый лежал, зачитываясь Шекспиром, курил сигары и сигареты, спал и свистел. Профессор заставлял его потом за разными занятиями. Целыми часами приглядывался к воробьям, отправляющим сеймики на крыше напротив. Потом ходил по покою, толкаясь о стены, то снова сидел на стуле сторбленный со свешенными руками и головой... книжку долго не мог читать – нормальный разговор вести не умел. Смеялся над самыми грустными вещами, а грустил над самыми весёлыми... временами это походило на безумие.

Дав ему так хорошо выспаться и думая, что наконец можно будет поговорить с ним более серьёзно, третьего дня вечером с сильным решением узнать что-нибудь определённое, профессор Куделка вошёл в комнатку на третьем этаже. Было в ней именно столько стульев, сколько их требовала конференция. По правде говоря, на одном из них стояла миска с водой, но ту достойный Куделка упрятал и сел у столика напротив своего пациента.

– Дорогой пане Мурминский, – произнёс он, – мы должны искренне от сердца к сердцу поговорить. Дай мне ладонь с таким чувством, с каким я тебе её подаю, и не таись от меня. Мурминский пожал плечами.

– Не имею секретов, – сказал он, – а если бы имел, не колебался бы вам поверить... О чём речь?

– Каково твоё положение здесь? – спросил Куделка.

– Моё положение? – повторил Теодор. – Моё положение было такое, что должно было перемениться в повешение. Этого достаточно сказать.

– Но... это общие фразы, – начал Куделка, – идём к подробностям. Говорил ты с президентом?

– Я? С этим человеком? С моим врагом? – крикнул, вскакивая, Мурминский. – Я – с ним!

– Но помедленней, помедленней, не запалайся. Прибыв сюда теперь, – говорил старик, – ты имел с ним какие-нибудь отношения? Ты виделся с ним? Он знал о тебе?

– Нет, – сказал хмуро Теодор. – Нет, слушай, пан... Выгнали меня отсюда... выгнали... Самая лучшая и святая из женщин была вынуждена из-за них выслать меня отсюда. Я шлялся как одержимый по свету... Шалея, потому что меня удручала тоска по ней... по краю, по всему, что тут оставил...

На отголосок войны я полетел биться – получил раны и вызов... Я должен был скрываться и убегать снова...

В минуты, когда она умирала... я ничего не знал, прибыл слишком поздно, знаю, что она обо мне забыть не могла... а, однако, должна была. Я застал могилу, а у могилы того, что некогда назывался братом, а был неприятелем. Я застал пустоту – чужие лица, людей, что меня боялись, или меня забыли... бедность сломала... я должен был скрываться... горе стиснуло сердце, стиснуло и в минуты отчаяния... я хотел завершить жизнь... Вы совершили, дорогой профессор, быть может, преступление, думая, что выполняете долг...

– Всё-таки отец ваш... где он? – прервал Куделка.

– Отец мой жил в Италии на маленькую пенсию, которую ему посылали... я искал его там – он мог удержать меня при жизни, потому что я был ему нужен. Я пошёл пешком искать его – не нашёл.

Из того уголка, который на протяжении стольких лет он занимал в Риме на маленькой улочке *Delie Viotegne oscure*, он выехал одного дня, забрав свои книжки и узелки, неизвестно куда. Умер где-нибудь, может, в дороге или попал в больницу.

Куделка заломил руки и сжал, стараясь скрыть сомнение, какое его охватило.

– Допустим, – сказал он, – что тут ты показался и был узнан... Если всё-таки родился в этой стране... никто бы тебе жить не запретил.

Мурминский пожал плечами.

– Но я не знаю даже, местный ли я по закону или чужой, – воскликнул он, смеясь, – я никаких бумаг не имею, потому что остатки их сжёг под дубом – я бродяга... сделает со мной, кто что хочет... первым – президент, который будет безжалостным... и покроет это плащом почтения к имени своей матери...

– У тебя были всё-таки прежние товарищи и приятели? – сказал Куделка.

– Товарищей было много, о приятелях так уж говорить не могу, – отозвался Мурминский. – Мой дорогой профессор, это наихудшая вещь, что ты впал со мной в бедность... а я уже не знаю, соберусь ли в другой раз повеситься.

Куделка встал как бы вдохновлённый.

– Э! Что же ты снова плетёшь, пане Теодор, – воскликнул он, – что из тебя за мужчина! Ни волю использовать, ни разум, который тебе Господь Бог дал, на своё добро обратить не умеешь... восхищаешься поэзией Шекспира... а справиться в самом простом случае не можешь. Умереть, отравиться, повеситься – наиглупейшая вещь, не больше это, видимо, отваги стоит, как прыгнуть в холод в воду... но человек создан для жизни, не для штук с верёвкой и пистолетами...

Мурминский посмотрел на него.

– Ты прав, профессор, ты только пополнил анахронизм, ты говоришь это человеку, который волю как пружину растянул и – она лопнула...

– Тогда вели поставить себе новую, – отозвался Куделка. – Советуемся и работаем – разговоры ни к чему не приведут. Человек не живёт вздохами.

– Но умереть может...

– Не пора! К чёрту! – сказал разгорячённый Куделка. – Ты создан для того, чтобы страдать и работать... а нет, тогда трус и бездельник.

Мурминский остановился, молчащий.

– У меня тут есть знакомые и приятели... что-то могу. Мы сделаем тебе метрику и свидетельство о рождении, затем, право пребывания, дальше, смело, с поднятой головой нужно взяться за работу. Придёт преследование, ну что же, будем обороняться – следует начать новую жизнь.

Мурминский по-прежнему смотрел на профессора... Из его глаз потекли слёзы, он вытянул руку.

– Ты – героичен, мой профессор, но я, – я слаб...

– Ты имеешь молодость, имеешь всё. Ещё раз слово, что на жизнь не покусишься...

– Уж я бы и на это сил не имел, – отозвался, подавая руку, Мурминский.

Профессор встал и прошёлся по покою.

– Завтра берусь в самом деле за работу, – отозвался он, – где ваша метрика? Я родился за границей... если не ошибаюсь, во Флоренции.

Куделка схватился за голову.

– Сядьте же здесь, напишем во Флоренцию.

Действительно, трудности множились, но старик, несмотря на свой возраст, имел железную волю. Не говоря ничего, он на следующий день решил пойти со своим протеже к высшим властям страны. На челе их стоял тогда немолодой человек, который в свободные минуты развлекался библиоманией. Это, наверное, и завязало отношения между ним и Куделкой. Тайный советник очень уважал профессора, в библиотеке которого не раз гостил и восхищался старыми немецкими изданиями.

Куделка всю надежду возложил на него... Нужно было понемногу исповедаться... но, веря во врождённую честность всех, кто любит книги (так утверждал профессор), был уверен, что тайный советник его не предаст.

Тогда снова на следующий день нужно было надевать тот гранатовый фрак. Для приобретения милости высокого урядника нёс профессор под мышкой очень красивый экземпляр *Navis stultorum* Брандта, с теми интересными гравюрами на дереве, которые также этой сатире добавляют цену.

Он знал, что библиоман не имел этого издания, что жаждал его, а Куделке как раз удалось достать второй экземпляр, который нёс в жертву. Не очень это было красиво – нести так на искушение тайному советнику и хотеть его подкупить этой редкостью, но Куделка, в простоте духа... как-то сам перед собой оправдывался.

Час был выбран предобеденный, когда тайный советник, завершив свои официальные занятия, возвращался домой и на лоне семьи часто забывал грязную работу, в которой, *jussi superiori*, должен был мочить руки. Человек был постаревший на службе и бюрократом от стоп до головы, вежливый, любезный, улыбчивый, холодный и формалист. Бледное побритое лицо, потянутое пергаментом, уже достаточно уставшее от жизни, имело то выражение, что не говорит, улыбку – что не смеётся, блеск глаз – что выдаёт только то, что видеть им разрешено. Семейю печатями был тайный советник. В обществе милейший на свете человек, достаточно учёный, остроумный, оживлённый, в бюро – сфинкс или машина, отлично производящая то, что на неё накрутили.

Когда профессор с Брандтом под мышкой, оправленным в пергамент, вошёл в салон, застал тайного советника, держащего на коленях младшую доченьку и глядящего на неё с нежностью старого отца к самому любимому ребёнку.

Увидев Куделку, советник поцеловал и отпустил девочку, а сам, почти не приветствуя, выхватил у него из под мышки книжку. Побежал с ней к окну, всматриваясь через лупу.

– Это не твой экземпляр, – воскликнул он, – я помню, на твоём есть печать монастыря в Хилдешейм, – значит, на продажу?

– Нет, пане советник, ты позволишь, чтобы я его тебе преподнёс в подарок?

– А! Нет! Нет! Это не может быть...

– Может быть, – ответил Куделка, – а нет, тогда сожгу его.

Начали тогда торговаться.

– Но ты не думай, – добавил профессор, – чтобы я давал его тебе даром – я требую ответной услуги.

– От меня?

– Да. Мы должны об этом поговорить наедине... полчаса.

Советник поглядел на часы.

– Даю тебе три четверти, пойдём в мой кабинет.

Неся с собой книжку, советник вошёл в соседний покой, в красивых палисандровых шкафах которого у него была отличная библиотечка белых ворон. Посадил профессора в кресло.

– Сперва позволь, пане советник, – сказал Куделка, – заметить, что я имею дело с частной особой... не с урядником. Если ты, как частная особа считаешь, что моё дело может

быть доверено некоему тайному советнику, тогда его доверим, если нет, сохранишь мою тайну.

На эти слова, искоса поглядев на тот экземпляр Брандта, который лежал ещё на бюро, советник принял на лице серьёзное и задумчивое выражение.

Он взвешивал, позволял ли ему его нестеряемый характер урядника входить в такой компромисс.

– В этом нет ничего политического? – спросил он.

– Если зацепим то, что вы называете политическим, то, пожалуй, издалека и искоса.

– Говори, – отозвался советник.

Профессор начал *ab ovo*⁵ историю Тодзия Мурманского, который его интересовал, как его ученик, хотел рассказать о его воспитании в доме президентши, когда советник с хладнокровием взял его за руку.

– Подожди, – сказал он, – я всё это знаю... этого мне говорить не требуется. Добавлю только, о чём ты, может, неосведомлён, что президентша вышла замуж за бывшего гувернёра своего Мурманского и что этот Теодор был её сыном...

– Я об этом догадался, – сказал профессор, – но доказательства?

– Доказательства на это где-то должны находиться, – добавил советник, – ежели их фамилия не исчезла. Гордая семья не хотела слышать об этом замужестве. Грозили ей опекой, молили, прощали... они должны были скрывать брак.

– И кажется, что так дотянув до последней болезни, – говорил профессор, – когда ей совесть не позволяла бросить собственного ребёнка без имени и опеки, вызвала ксендза Заклику, дабы ему поверить своё завещание. Ксендз Заклика не сумел найти Мурманского... и вот он умер а с бумагами, ему доверенными, неизвестно, что станет.

– Лежат на них судебные печати, – сказал спокойно советник, – если есть, то найдутся...

Только тут, распалив дело, достойный Куделка перешёл к самой волнующей стороне своих откровений... к особе Тодзия. Не признался, что держал его у себя на третьем этаже, дал только понять, что о нём знал, и хотел его привести.

– Скажи, пан, грозит ли ему здесь какая-нибудь опасность?

Советник задумался, но, видно, память свою счёл недостаточной, достал ключ, который носил с часами, отворил бюро, нашёл книжку, на форзаце которой сияла золотая буква М, и погрузился в поиски названной фамилии.

Профессор, глядя на него, рад бы что-нибудь вычитать сперва из лица, но её бледный и сморщенный пергамент не выдавал тайны. Советник, спрятав книжку, вернулся к ожидающему Куделке – с лицом немного нахмуренным.

– Собственно, – сказал он медленно, – мы не имеем законных доказательств, чтобы этот парень к чему-нибудь принадлежал, что бы его делало подозрительным – но мы имеем моральное убеждение... что он не вполне чист. Мы можем его терпеть... пока, пока что-то не найдётся... Но, – добавил он тише, – я должен тебе доверительно поведать, у него тут неприятель в значительном человеке, имеющим влияние и превосходство.

– Мы не сумеем противостоять?

Советник поднял брови, начал пальцами барабанить по бюро и – ничего не отвечал...

– Как ты думаешь? – настаивал Куделка.

– Думаю, что будет трудно... трудно... Но нет, невозможно.

Советник поправил волосы и посмотрел на часы. Это движение испугало профессора.

– Ещё десять минут, – воскликнул он, хватая за руку советника. – Я видел, как ты нянчил ребёнка, ты – отец... имеешь сердце.

⁵ С начала (лат.)

– Я урядник и имею обязанности, – отпарировал довольно холодно советник, беря Брандта и отдавая его Куделке, который его быстрым движением бросил на бюро.

– Я взываю к человеку, который имеет сердце, послушай, пан, мой рассказ.

Не обращая ни на что внимания, с горячим чувством, профессор описал свою ботаническую экспедицию, свою встречу, спасение несчастного от петли... и вытянул к советнику умоляюще обе руки.

Тот сидел застывший...

За довольно долгий отрезок времени он не дал никакого ответа. Ещё раз пошёл к бюро и к литере М, долго в ней читал. Сложил фолиант, закрыл и сказал, подавая руку профессору:

– Попробуем... но ты, пан, отвечаешь мне за него, чтобы какой авантюры не совершил. Человек, что посягает на себя, может легко, не имея что терять, покуситься на чужую жизнь.

– А! Нет, нет! – воскликнул живо профессор. – Ручаюсь.

– Закроем глаза и уши, но издалека будем смотреть и прислушиваться.

В эти минуты вошла самая младшая дочка пана советника, объявляя, что подали к столу; урядник встал, вежливо приглашая старичка, но тот, отказавшись, как можно быстрее пошёл домой.

* * *

Майор Заклика был солдатом с 1831 года. Уже в 1832 году часы его жизни остановились и уже дальше не двигались. Жил воспоминаниями пережитой кампании – ходил в мундире, в старомодной чёрной чамаре с крестом *virtuti militari*, платок завязывал высоко на душе, с огромной фантазией, бакенбарды имел подбритые и полумесяцем, усики – подкрученные вверх, держался просто и, хоть поседевший и с ревматизмом, хоть осевший на деревне, сохранил солдатскую физиономию, физиономию своей эпохи, так, что в нём каждый мог узнать подчинённого генерала Сскинецкого.

В обществе также, когда хотел развлечь людей, не умел говорить ни о чём другом, только историю своего полка и о капрале, называемом Бабочкой, который в его глазах и с ним в компании чудеса вытворял.

Повествование, переплетённое французской, майор с трубкой и рюмочкой вина продолжал до такого позднего часа, что его трудно было уложить спать, когда однажды в него пускался. На деревне он хозяйничал по-солдатски, по приказу, и шла его служба отлично – но стал неслышанным скрягой и, хотя вправду не видел для кого и зачем так фанатично собирал, имел славу безжалостного скупердяя.

С ксендзем-прелатом они виделись едва раз в несколько лет. Приглашённый Заклика всегда отговаривался стоимостью путешествия и оставлением хозяйства. Наконец, заскучав по старшему пану брату, ибо его любил, третьим классом, с одной старой торбой, шитой верёвками, на которой стояла поблёкшая надпись: *Souvenir*, являлся в дом каноника. Поговорив тут несколько дней о старых деяниях, возвращался снова в свою усадьбу и загоны.

Когда майор получил письмо от ксендза Стружки с новостью о смерти брата, расплакался как бобр... Хотел спешить на похороны, рассчитал, однако, что это было невозможно, отписал, что как только устроится (должен был ещё лён досеять), тут же прибудет. Как-то через неделю после похорон появился майор с торбой и бархатной тканью у пуговицы, имея надежду, что тут где-нибудь найдёт бесплатное помещение. Первый покой прелата, не опечатанный, служил ему ночлегом, проболтали короткую весеннюю ночь с Павлом. Майор, оплакав брата, хотел как можно скорей избавиться от формальностей этого наследства, от которого не много ожидал.

– Пусть ему там Бог не помнит, – сказал он Павлу, – честнейший человек был, но мот. Грош у него никогда не задерживался... первому лучшему убогому отдавал. Не великие там вещи, должно быть.

На следующее утро майор ещё перед маленьким зеркальцем седые усы чернил, когда прибежал Павел, объявляя ему посещение президента. Каким образом он узнал о приезде, было тайной, но в девять часов же появился. Майор набросил на себя чамарку и с великими знаками уважения принял достойного гостя.

– Простите мне, пан майор благодетель, – отозвался президент, – что, хоть не знакомый, вам навязываюсь. Случайно узнав о вашем прибытии, я не мог себя перебороть, чтобы не излить на ваше лоно... горе над потерей, которую мы понесли. Прелат был для нас больше чем другом.

В течении четверти часа потом взаимный обмен любезностями и некролог умершему занимал обоих панов. Майор не очень присматривался к президенту, потому что он его не много интересовал, зато президент изучал глазами, вслушивался в слова, старался точно узнать человека и его слабости. Наконец пришло к делу – президент, обеспокоенный заботой, объявил, что его сюда привело маленькое дельце, что, касающиеся семьи бумаги, вероятно, должны были находиться среди оставшихся после прелата.

Майор не видел в том ничего плохого и опасного, чтобы тут же обещать, что они будут выданы по требованию. Получив это обещание, президент объявил, что официальное снятие печатей он может ускорить и что рад бы сам, чтобы это как можно быстрее произошло.

Только тут майор, несмотря на великое уважение к президенту, видя его таким настаивающим, немного задумался, немного это ему как-то показалось подозрительным, и отделался общими фразами... ручаясь, что после просмотра бумаг, те, которые окажутся принадлежащими семье президента... очень охотно ей вернёт.

Прибывший, видно, ожидал чего-то иного, не смел уже, однако, настаивать, рассчитал, что будет знать о часе распечатывания и врасплох появится. В суде он имел людей, преданных ему. Таким образом, в этой временной надежде он попрощался с майором.

Заклика как раз провожал его до лестницы, когда живо прибежал Стружка. С того, что ему доверил прелат, он легко мог догадаться, о каком депозите шла речь. Беспокойство президента укрепило его предположение. Едва за ним закрылась дверь, когда он в свою очередь потянул за собой майора.

На комод в первом покое стояло старое распятие... Стружка, закрыв дверь, подошёл, молчащий, к нему и взял его в руки.

– Пане майор, – отозвался он, – я был другом умершего, я капеллан, можете поверить моему слову и торжественно на этом кресте клянусь, что то, что вам скажу, есть чистая правда.

– Но, ради живого Бога, *sacre nom*, – отозвался майор, – я вам верю и без этого всего, о чём речь?

– Спросите, дорогой майор, Павла для ещё лучшего доказательства. В канун смерти покойник велел меня срочно призвать к себе. Я нашёл его вот в этом кресле чрезвычайно оживлённым и раздражённым... велел мне закрыть дверь и поверил мне, что некоторая особа, женщина... фамилии не назвал, но о ней из других обстоятельств догадаться легко, доверила ему бумаги и деньги в депозит с тем, чтобы передать особе, которой он найти не мог. Заклинал меня, чтобы я принял эти бумаги, зная себя, я не взялся – я слишком рассеянный. Я должен был ему на следующий день найти человека... Но ночью прелат умер...

Майор слушал с великим вниманием.

– Мой благодетель, как только что-нибудь найдётся, что мне не принадлежит... то себе забирайте... я не против...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.